

Вацлав
Михальский

Храм согласия

роман

ТОМ СЕДЬМОЙ

Вацлав Михальский

**Собрание сочинений в десяти
томах. Том седьмой. Храм согласия**

«Согласие»

2008

Михальский В. В.

Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Храм согласия /
В. В. Михальский — «Согласие», 2008

На страницах романа Вацлава Михальского «Храм Согласия» (ранее вышли – «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня», «Для радости нужны двое») продолжается повествование о судьбах главных героинь романа – Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота, в которых соединились пути России и Туниса, русских, арабов, французов. В романе «Храм Согласия» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описание неизвестных широкой публике исторических событий XX века.

© Михальский В. В., 2008

© «Согласие», 2008

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Вацлав Михальский
Собрание сочинений в десяти
томах. Том седьмой. Храм согласия

© Михальский В. В.

* * *

Часть первая

Храм Согласия, вероятно, возвышался на одном из холмов Карфагена, рядом с Храмом Эимуна. Мы только начинаем постигать феномен Карфагена, чьи республиканские институты, экономические концепции и желание мира кажутся сегодня поразительно современными.

Мадлен Ур-Мьедан, главный хранитель музеев Франции¹

I

Третий год искал мсье Пиккар на земле древнего Карфагена Храм Согласия и пока не находил никакой зацепки. Его помощники Али и Махмуд из мальчиков превратились в закаленных работой юношей и сильно поднаторели в практической археологии. Мсье Пиккар обещал своим подручным: если они все-таки найдут заветный храм, он оплатит расходы Али и Махмуда по их будущей женитьбе. Ребята старались, было за что, но удача пока не улыбалась им. В последние годы, как и в прежние времена, тонны камня, кирпича, расколотых мраморных и гранитных плит перенячил в своих могучих руках мсье Пиккар.

Сразу после известия о замужестве Марии мсье уехал на месяц во Францию, а когда вернулся, был, как и прежде, целеустремлен, бодр духом и крепок телом, только черты лица его стали жестче, а в светлых глазах чуть поубавилось света. Мсье Пиккар стоически перенес ошеломившее его скоропалительное замужество Марии, нашел в себе силы не встать в позу обиженного. При невольных встречах со своей желанной несостоявшейся женой мсье всякий раз подчеркнуто вежливо раскланивался и без видимого напряжения поддерживал общепринятые в таких случаях разговоры о погоде и мировых новостях, которых, к сожалению, было предостаточно – Вторая мировая война день ото дня набирала силу.

Третий год жили Мария и Антуан вместе и не спали в одной постели лишь тогда, когда Антуан улетал в командировки. В такие ночи Мария бережно обнимала его подушку и иногда нашептывала в нее что-нибудь нежное. В отсутствие Антуана она никогда не меняла постельное белье, даже если мужа не было дома целую неделю, а то и две – на больший срок они пока еще не расставались. То чувство свободы и радости обладания жизнью, которое она испытывала каждодневно рядом с Антуаном, могло сравниться только с ощущениями ее детских лет.

У него было тонкое чувство юмора, а душевная щедрость позволяла ему радоваться чужим шуткам гораздо больше, чем своим. Ни один день не обходился без смеха, делавшего их жизнь легкой, окрыленной. Они никогда не обнимались на людях, но любили как бы нечаянно соприкасаться, потому что были всегда желанны друг другу.

– Как хорошо, что мы с тобой не встретились лет двадцать назад, а то бы так и не вылезали из постели, – смеясь, часто говорил Антуан, – и ты бы не окончила никакие университеты, и я бы не летал в небе, а сидел на земле приклеенный к твоей юбке. И шатались бы мы, как тени, или нас давно бы унесло ветром. Мы слишком подходим друг другу...

Мария вставала за час до мужа, и его всегда ждал отличный завтрак и ухоженная, улыбающаяся жена. Это давало обоим заряд бодрости на весь день, чувство уверенности в себе, прочного тыла и своей необходимости в подлунном мире.

Сама себе удивляясь, Мария ухитрялась быть покладистой и даже покорной, чем обезоруживала малейшее недовольство Антуана и влюбляла его в себя все больше. Сначала он

¹ Madeleine Hours-Miedan. Carthage. Presses Universitaires de France, 1949.

говорил: «Мари, я люблю тебя, как небо в полете», а как-то недавно сказал: «Мари, я старею, кажется, я люблю тебя больше неба».

Он горько переживал позорный разгром Франции, считал, что это противоречит подлинному положению вещей и могло случиться лишь в силу особого рода куриной слепоты французских стратегов той поры². Он не понимал также маршала Петена, взявшего власть после разгрома и пошедшего на переговоры с Германией, организацию правительства Виши и на раздел Франции на оккупированную и демилитаризованную зоны.

– В восемьдесят шесть лет он не имел права брать всю полноту власти. Я раньше уважал старика, я помню его еще по Вердену, когда он спас Францию от тех же немцев. Увидишь, Мари, несмотря на все его былые заслуги, из него сделают козла отпущения, и поделом.

Антуан все еще служил личным вольнонаемным пилотом у губернатора Шарля, но в душе, конечно же, был на стороне де Голля, хотя и недолюбливал последнего, вернее, опасался его злопамятности. К сожалению, пути их однажды пересеклись. Сложность его положения была в том, что однажды он невольно ударил по самолюбию де Голля. В 1925 году, когда будущий генерал де Голль был адъютантом маршала Петена, во время показательных выступлений лучших пилотов французской армии в небе над закрытым военным аэродромом Антуан сделал мертвую петлю³ так лихо, что вышел из пике чуть ли не над трибуной руководства и почетных гостей. Его тут же призвали к ответу.

– Ты что, хотел нас угробить?! – грозно надвинулся на него маршал. – Да тебя разжаловать мало! – Тут он увидел на груди Антуана офицерский крест Почетного легиона и крест с пальмами. Его голубые глаза потемнели. – Фокусник! – добавил он почти миролюбиво. – За что награды?

– За Верден.

– А-а...

– Безобразие! Не то что разжаловать, а немедленно отдать под трибунал! – гневно вступил в разговор адъютант де Голль. – Разрешите оформить документы? – обратился он к маршалу Петену.

– Ладно, отстань от парня, – сухо ответил своему помощнику Петен, и на этом была поставлена жирная точка. К героям Вердена маршал питал особую слабость.

Позже Антуан узнал, что де Голль не успокоился и все-таки подготовил документы на его разжалование, но Петен тоже был внимателен и не утвердил их.

С тех пор как эмигрировавший в Англию бригадный генерал де Голль стал обращаться из Лондона по радио к гражданам Франции и призывать их к сопротивлению немецким захватчикам, Мария и Антуан нередко говорили о новом герое дня. Антуан признавал, что выступления мятежного генерала блестящи по форме и абсолютно верны по сути, но пока не спешил изменить свое неприязненное отношение к нему.

– Де Голль не любит тех, кто не поддакивает ему, не вытягивается перед ним в струнку. Но, кажется, война вынесет его на гребень. Его «Свободная Франция» – пока кучка эмигрантов. Чепуха! Но, если немцы начнут проигрывать, а так и будет, союзники вознесут его на пьедестал, а из твоего Петена сделают изменника Родины или кого-нибудь в этом духе, – говорил Антуан весной 1941 года, когда Германия праздновала победу за победой.

Как это часто бывало в последние месяцы, Антуан улетел с генералом Шарлем во Францию к маршалу Петену, обосновавшемуся со своим правительством в курортном городке Виши. В день отлета Антуана Мария не выезжала из дома. Во-первых, все еще дул изнуряющий

² До 1939 года, по единодушным оценкам военных специалистов, французская армия считалась сильнейшей в Европе. И вдруг за одиннадцать дней была разгромлена немцами.

³ Петля Нестерова – впервые исполнена 27 августа 1913 года основоположником высшего пилотажа, русским военным летчиком, штабс-капитаном Петром Нестеровым. Нестеров погиб 26 августа 1914 года, первым в мировой практике воздушных боев применив таран.

тело и душу хамсин⁴, во-вторых, работы в портах были приостановлены, в-третьих, ее деловой партнер господин Хаджибек также уехал во Францию искать счастья в коридорах новой французской власти. Мария пыталась объяснить господину Хаджибеку, что надежды его эфемерны, но он почему-то ей не поверил.

Дул хамсин, красный ветер безумия. И весь мир пребывал в кровавом безумии одна тысяча девятьсот сорок первого года от Рождества Христова.

Вечером приехали неожиданные гости. Без какого бы то ни было предупреждения доктор Франсуа привез на виллу графини молодого капитана британской разведки Джорджа Майкла Александра Уэрнера. Хотя гости и приехали в закрытом военном грузовичке, вся их одежда, лицо, шея, руки были покрыты плотным налетом красноватой пыли – от хамсина нет спасения ни человеку, ни автомобилю, ни танку.

Еще до того, как молодой англичанин протянул Марии Александровне письмо в узком лиловом конверте, она узнала его, правильнее сказать, угадала, кто перед ней.

– Как поживает ваша матушка? – спросила она по-русски.

– Поживает карашо, – удивленно отвечал молодой человек. Он ожидал чего угодно, но только не такого поворота дела, и, несмотря на всю шпионскую выучку, зрачки серых глаз англичанина предательски дрогнули.

– Я пойду на кухню, попрошу перекусить? – по-французски спросил разрешения у хозяйки доктор Франсуа, всем своим видом неуклюже намекая на то, что он ничего не слышал, не видел и не понял.

– Не удивляйтесь, что я вас узнала, – добродушно сказала молодому англичанину по-русски Мария Александровна. – Вы похожи на своего отца, как две капли воды.

– Но... насколько мне известно, вы видели моего отца лишь мельком, в Гранд-Опера в январе тридцать девятого года, – на очень хорошем французском отвечал молодой гость.

– Мне хватило, – усмехнулась Мария Александровна. – У вашего отца весьма импозантная внешность.

– Спасибо, – поклонился Джордж Майкл Александр Уэрнер.

– Давайте без церемоний, – как-то очень по-свойски улыбнулась ему Мария Александровна. – Вы потомок Пушкина, а это для русского человека все равно что родственник... Быстренько под душ! Сейчас я позову доктора Франсуа, вы передадите ему в ванной комнате свою одежду, а через четверть часа он вернет вам ее выбитую и вычищенную от пыли... К сожалению, моего мужа сейчас нет дома, он улетел с губернатором во Францию, а то бы я с удовольствием вас познакомила.

– Прошу вас... прошу, не упоминайте о моем визите... не сочтите за дерзость, просто такая работа.

– Хорошо... А теперь на второй этаж! Прямо по коридору, потом первая дверь направо. Впрочем, доктор Франсуа не заставит себя ждать, а я пока читаю письмо Анастасии Михайловны.

Сидевший под лестницей Фунтик как мог грозно зарычал на чужого.

– Фунтик, свои! – окликнула его по-русски Мария. – Иди ко мне!

Не обращая больше никакого внимания на чужака, Фунтик подбежал к хозяйке.

– Это свои, Фуния, свои. – Мария Александровна погладила собачонку по голове. С Фунтиком она всегда говорила только по-русски. Эту манеру переняли у нее сынишки Фатимы

⁴ Хамсин – по-арабски «пятьдесят». Дует пятьдесят дней безостановочно; тучи горячей песчаной пыли застыт солнце, оно теряет блеск и выглядит маленьким дьявольским глазом красного цвета, цвета ветра, наполненного красной пылью. Температура воздуха не опускается ниже сорока градусов по Цельсию, относительная влажность уменьшается до десяти процентов. Этот ветер так изнуряет тело и душу, так действует на психику, что во время хамсина даже убийства оправдываются судьями, впрочем, как и во время сильного сирокко. В Сахаре дует в разное время года несколько видов ветров: сирокко, хамсин, калима и др. Хамсин дует весной, сирокко – летом.

Муса и Сулейман. Так что в их домашней колонии вместе с доктором Франсуа было теперь четверо русскоговорящих и один русскопонимающий. Причем Фунтик понимал очень много слов и выражений.

Пройдя на кухню за доктором Франсуа, она отдала ему указания по-русски, а служанке велела накрыть стол в малой гостиной на три персоны.

– Нет-нет, на две! – испуганно поправил ее доктор Франсуа по-русски.

– На две! – сказала Мария Александровна служанке и пошла читать письмо в малую гостиную, что располагалась на первом этаже.

«Дорогая Мария Александровна!

Все сплетено из случайностей, которые посылает нам жизнь. Мое мимолетное знакомство с Вами, которому я, каюсь, не придавала значения, обернулось для меня подарком судьбы.

Мой мальчик надеется на Ваше попечительство. Мы прослышали, каким авторитетом пользуетесь Вы в арабском мире.

Дома я зову его просто: Георгий. И Вы так зовите. Он не допускает меня до своих дел и никогда ничего не рассказывает, но я чувствую всю сложность его службы и без рассказов.

В Лондоне жарко и бывают бомбежки. Нас пока бог милует. Жаль Францию.

Очень на Вас надеюсь. Ваша Анастасия».

Мария Александровна оценила безыскусность и искренность письма леди Зии де Торби, да и как иначе могла написать правнучка Пушкина!

...За десятки лет, минувших с того жаркого, душного вечера, лиловый конверт выцвел, а само письмо осталось в полной сохранности. Иногда и сейчас, в глубокой старости, в сухой, просторной и чистой комнате в полуподвале под православной церковью в Тунисе Мария Александровна перечитывает или просто гладит это письмо Анастасии Михайловны, и сердце ее наполняется не то чтобы гордостью за «дела давно минувших дней», а укрепляющим душу чувством исполненного долга.

– Огромное вам спасибо! Искупаться в хамсин – это счастье! – появился на пороге гостиной Джордж Майкл Александр Уэрнер. Лицо его было так молодо, так свежо, что Мария Александровна хотела сказать ему комплимент, но в последнюю секунду удержалась.

– Проходите к столу, давайте перекусим чем бог послал. В пыли вы показались мне лет на пять старше.

– Тогда я зря купался, – зарделся гость, очень стеснявшийся своей молоджавости.

– Вам к лицу мундир лейтенанта французской армии.

– Спасибо, – как можно равнодушнее отвечал гость.

– Выпьем чуть-чуть. В старости буду хвастаться, что выпивала с потомком Пушкина!

Мария Александровна положила на большую тарелку гостя ветчины, сыра, маслин, намазала ему хороший кусок хлеба с маслом. Молодой человек ел с удовольствием. Они выпили по бокалу десятилетнего красного сухого вина провинции Медок.

– Очень вкусное вино. Я никогда такого не пил.

– Да, у англичан нет вкуса к пище и винам, – как-то с бухты-барахты вырвалось у Марии Александровны.

Гость потупился. Но потом, видимо, решив не оставаться в долгу, учтиво наполняя бокалы, с некоторой вальяжностью в голосе сказал:

– Я давно обратил внимание, что русским плохо дается английский язык. Как вы думаете, почему?

– Наверное, потому, что Россия никогда не была английской колонией, – выпалила Мария Александровна и взглянула на гостя так лукаво, что оба рассмеялись и радостно чокнулись хрустальными бокалами на высоких ножках.

– У нас дома тоже всегда чокаются. Нас всех научила мама.

После небольшой паузы, позволяющей сменить тон, Джордж Майкл Александр Уэрнер наконец заговорил о том, зачем приехал.

– Мадам Мари, нас всех удивляет и озадачивает необыкновенное количество танков у Роммеля, в том числе и тяжелых. Побережье Атлантического океана прикрыто нами полностью. А мог ли Роммель получить подкрепление в таком объеме через порты Бизерты и Туниса? Например, тайно? Здесь до Сицилии всего сто пятьдесят километров.

Мария Александровна озадаченно задумалась, даже потеряла виски ладонями. Вопрос явно застал ее врасплох.

– Нет, – ответила она наконец, – думаю, нет. Я бы об этом знала. После того, что случилось с Францией, некоторое время мы разрешали Италии перебрасывать через наши порты живую силу и технику, но это было до приезда Роммеля⁵.

– Но танки не могли прилететь.

– Возможно. Даст бог, небо прояснится, и тогда будет виднее.

– Он и сейчас умудряется истреблять наши танки прямой наводкой из пушек, которые выкатывает на самую переднюю линию фронта.

– Молодец! Воевать в хамсин – большое мужество, дерзость и огромная сила воли!

– Да, с волей у него все в порядке, но нам от этого не легче! – почти зло сказал гость.

– Жаль, что вы не говорите по-русски так же хорошо, как по-арабски или по-французски.

– Если когда-нибудь меня пошлют в Россию, я обещаю исправиться, – поднялся из-за стола Джордж Майкл Александр Уэрнер. – Был рад знакомству. Иногда я буду появляться в Тунисии.

– Милости просим. – Мария Александровна протянула ему для поцелуя руку. Гость поцеловал ее с вышколенной ловкостью и простотой.

Мария Александровна прошла к двери:

– Доктор Франсуа!

Через минуту явился доктор Франсуа. Гости раскланялись и вышли в черно-красную ночь, наполненную пылью, песком и ревом ветра.

«Значит, генерал Шарль все-таки внял моему совету и параллельно играет свою игру – деголлевскую. Ну и правильно. Доктор Франсуа предан ему абсолютно – другого выбора у Шарля и быть не могло. Знает ли об этом Николь? Скорее всего, нет... Игра слишком опасна – на кону его голова. И Шарль, и Антуан не любят англичан, но теперь, после унижительного разгрома немцами французской армии и не менее унижительного перемирия, заключенного с немцами маршалом Петеном, они еще больше не любят немцев».

⁵ Эрвин Роммель ступил на землю Северной Африки 12 февраля 1941 года и к лету сделался хозяином положения на этом театре военных действий. К лету 1941 года Роммеля уже прозвали «Лисом пустыни», и имя его стремительно становилось легендарным. Одно только слово «Роммель» деморализовало войска англичан, и они поспешно оставляли свои позиции. Командующий ближневосточными английскими войсками генерал Окинлек был вынужден отдать приказ: «Командирам и начальникам штабов бронетанковых и пехотных соединений. Существует реальная опасность того, что печально известный нам Роммель станет своего рода наваждением для наших войск. Солдаты рассказывают о нем небылицы, а его имя оказывает на них гипнотическое воздействие. Он ни в коем случае не сверхчеловек, хотя разговоры о его способностях и энергичности не лишены основания. В связи с этим было бы крайне нежелательно, чтобы наши люди приписывали ему сверхъестественные качества. Требую провести разъяснительную работу в войсках и всеми доступными способами внушить личному составу, что Роммель не представляет из себя ничего большего, чем обычный немецкий генерал. Обращаю ваше особое внимание на то, что не следует сейчас употреблять слово «Роммель», имея в виду нашего противника в Ливии. Без конкретизации следует говорить о «немцах», «вооруженных силах», «оси» или «противнике». Приказ принять к производству незамедлительно. Довести до сведения младшего командного состава психологическую важность разъяснительной работы среди нижних чинов». Наверное, читателю будет любопытно узнать, что легендарный танкист Роммель 29 лет прослужил в пехоте и получил под свое командование первую танковую часть лишь в 1940 году. Этому содействовал тот факт, что к началу Второй мировой войны (к 1 сентября 1939 года) Роммель был командиром батальона личной охраны Гитлера, пользовался его безусловным расположением, хотя и не входил в ближний круг. Однажды Гитлер спросил: – Роммель, что ты хочешь? – Танковую дивизию, – не моргнув глазом, ответил Роммель и получил ее.

Под лестницей скромно тявкнул Фунтик, намекая на то, что хорошо бы его покормить. Мария пошла на кухню, сама мелко нарезала несколько кусочков говядины, налила стакан воды и понесла все это своему любимцу, чтобы переложить мясо в его плошку, а воду перелить в глиняную мисочку. Фунтик никогда не притрагивался к подаваемой ему пище прежде, чем Мария не приласкает его и не поговорит с ним по душам. В беседе он непостижимым образом отличал главное от второстепенного и обижался, когда от него отделялись какой-нибудь чепухой.

– Ну что, Фуня? – присела Мария на корточки под мраморной лестницей. Положив в посудинки мяса и налив воды, она погладила собачонку по голове, почесала за ушками и только тогда приступила к разговору. – Ты как думаешь, Фуня, вычислим мы этого Роммеля?

– Гав! – уверенно отвечал Фунтик и, виляя хвостом с белой кисточкой, не торопясь принялся за еду.

Мария пошла в спальню, а верный страж, поужинав, также поднялся наверх и свернулся клубочком под ее дверью на маленьком шерстяном половичке, который был постелен специально для него.

Хамсин ревел за окном с неистовой силою, казалось, сейчас он ворвется в комнату. Тройные жалюзи, подбитые войлоком и заполненные внутри верблюжьим пухом, специально придуманные Марией на время ветров, конечно, спасали дом, но пыль все же проникала, и служанке приходилось вытирать ее каждый день. У себя в спальне и в кабинете Мария убиралась сама – сюда не было доступа никому, кроме Антуана. Даже Фунтик при открытых дверях все равно стоял у порога и никогда не переступал черту дозволенного.

Несмотря на явную ревность Фунтика к Антуану, у них сложились отношения доброжелательного нейтралитета. Когда пса звала Мария, он летел к ней со всех ног, а если его подзывал Антуан, шел к нему не спеша, с достоинством равного, хотя и повилявая хвостиком.

В эту ночь под заунывный вой хамсина Мария долго думала об Анастасии Михайловне, о ее сыне, который был достаточно тактичен, чтобы не вербовать ее в английские агенты, о докторе Франсуа, который наверняка попал в историю, как кур в ощиц, о загадочных танках Роммеля. Действительно, откуда они у него?

Неужели она, Мария, прохлопала транспорт с танками и его провели мимо ее носа? Когда это могло случиться? Теперь надо досконально изучить все в портах... Неужели она настолько не владеет ситуацией, что ее могли так грубо обмануть? Надо поднять документы по разгрузке за последние месяцы, вдруг найдется какая-то зацепка... Конечно, Джордж ей поверил, но поверил только ее искренности, тому, что она лично ничего не знает. А это для него меньше, чем мало. Фактически он уехал ни с чем... Надо думать, надо что-то придумать... Неужели Хаджибек сыграл за ее спиной в те десять дней, когда она гостила у Ули и ее туарегов? Неужели он решился так рискнуть? На него не похоже, но надо проверять, надо все проверять...

II

Весной 1941 года, когда к Марии Александровне приезжал праправнук Пушкина, Германия еще не напала на Россию, а в январе 1945-го, когда в день своего рождения Александра Александровна встретила на Одере бывшего сослуживца по московской больнице Вову-Полторы жены, мы давно отвоевали нашу землю и были близки к окончательному разгрому немцев.

Обе сестры внесли в Великую Победу свою толику, свой вклад. Это на рубеже двадцатого и двадцать первого веков слово «вклад» стало ассоциироваться в России прежде всего с банковским вкладом, а в те далекие времена большинство наших соотечественников понимали его как вклад усилий, а то и самой жизни в войну с врагами народа, настоящими врагами – чужеземными захватчиками, а не с назначенными диктатором в порядке истребления бывших

соратников в борьбе за бесконтрольную власть или в услужение этой власти, которая почему-то и в СССР, и во всем остальном мире называлась «советской». На самом деле Советы народных депутатов никогда не управляли страной. Они были лишь ширмой, а управляла партия, попросту говоря, банда, поскольку любая партия в любой стране организована по принципам банды: «Кто не с нами, тот против нас». Когда страной правит одна банда, государство считается тоталитарным, а когда по очереди две и больше – демократическим.

Восьмого января 1945 года Александра Александровна неожиданно встретила на Одере шофера Вову-Полторы жены. Она узнала его по разным глазам: маленькому серо-желтому правому и по большому синему левому, который, как всегда, сиял весельем и отвагой. На войне, как и на гражданке, Вова был все так же бодр, шепеляв, словоохотлив и нагл. В тот день его убило, а ее ранило...

Александра давно чувствовала себя под прицелом, еще с лета 1944 года, с тех пор, как попала на Сандомирский плацдарм. Слишком ловко шагала она по войне, слишком безнаказанно. Раньше, в штурмовом батальоне морской пехоты, Александра твердо верила, что она заговоренная, что ни пуля, ни осколок, ни штык, ни холод, ни голод – ничто ее не возьмет. А за Вислой вдруг почувствовала себя беззащитной и стала, как все смертные.

Восьмого января 1945 года главный хирург Папиков, его помощницы Александра и «старая» медсестра Наташа срочно убыли из своего большого стационарного госпиталя под Вислой почти на передовую, в ППГ первой линии⁶. Там ждал их тяжелораненый генерал из Москвы – большая шишка, перевозить которого было крайне опасно. ППГ приютился в овраге, почти на берегу Одера. Операция длилась пять часов. Генерала они спасли и оставили на месте. Папиков подтвердил по телефону Командующему фронтом, что перевозить прооперированного не просто нежелательно, а категорически нельзя. Александру не знала и никогда не узнала, что спасла от верной смерти того самого проклятого ею генерала, который обидел в Севастополе ее комбата Ивана Ивановича и из-за которого тот чуть было не застрелился. А если бы знала?.. А если бы знала, то и тогда заботилась о генерале так же безукоризненно. На всю жизнь запомнила она слова своего мужа Адама о его отце-враче, который сказал так: «Даже после того, как в Гефсиманском саду Иуда предал Христа, я бы не отказал ему во врачебной помощи».

Возвращались домой в мгlistых сумерках быстро набегающего зимнего вечера, удивительно теплого и тихого.

– Хорошо им, теплень такая, дров надо меньше, угля, теплой одежды, – философски изрек водитель, удерживая машину в глубокой колее. Как и многие другие его коллеги, он всегда чувствовал себя не простым солдатом, а человеком, без которого машина сама не едет, а значит, и начальство стоит. Так что хочешь не хочешь, а не считаться с ним нельзя. Шофера звали Петром, ему было под сорок – для фронта возраст вполне почтенный. Воевал Петр с мая 1942 года, когда призвали его из шахтерского городка в Казахстане. Так что понятия «зной» и «холод», притом лютый, были ему хорошо знакомы, и его зависть к живущим в тепле европейцам шла, как говорится, от всей души. – Где-то недалеко был концлагерь наших пленных, – продолжал Петр, – ужас, как эти гады содержали здесь наших!

– Да, – подтвердил Папиков, сидевший впереди рядом с водителем. – Если б не видел своими глазами, не поверил бы...

Александра хотела сказать, что и она видела концлагерь, но машину сильно трянуло, и ей пришлось промолчать, потому что Петр забормотал что-то хотя и нечленораздельное, но вполне понятное по интонации, и нить разговора была упущена.

– Колдобина на колдобине! – засмеялся водитель. – Быстренько наши раздолбали, а еще осенью была хорошая гравийная дорога с большой подсыпкой – все как надо, что-что, а в дорогах я понимаю. Эхма, какая впереди яма... Объемем? – повернулся Петр к Папикову.

⁶ Подвижной полевой госпиталь первой линии, как правило, располагался недалеко от боевых порядков.

Папиков кивнул утвердительно: дескать, твое дело шоферское, тебе виднее.

Они ехали на американском виллисе под брезентовой крышей, со слюдяными окошками сзади и по бокам.

Петр взял влево, машина кое-как выскочила из колеи, и они стали делать объездной крюк по плотному на вид бездорожью. Прокатили метров двадцать, стали поворачивать опять к дороге и тут наехали левым задним колесом на противопехотную нажимную мину, из тех, что поставлял в войска фатерланда фатер молоденького Фритца, что был спасен летом Александрой и Папиковым. Виллис крепко кинуло, но машина не перевернулась и даже мотор не заглох. Шофер и Папиков были слегка контужены, «старая» медсестра Наташа отделалась легким испугом, а сидевшая на заднем сиденье с левой стороны Александра получила ранение левого бедра.

Папиков сделал Александре обычную бинтовую перевязку и заставил выпить из своей фляжки фронтные «сто грамм». Шофер тем временем осмотрел машину.

– Левая покрывка вдребезги, но мы и на ободке дотянем, до дома-то рукой подать. Удачно она рванула – вся в поле, а могла бы ой-ё-ёй! – сказал Петр, усаживаясь за руль. – Ну, с Богом!

В своей операционной, где была знакома ей каждая мелочь, Александра впервые оказалась не у стола, а на столе.

– Сквозное осколочное ранение наружной поверхности средней трети левого бедра, – констатировал Папиков, – входное отверстие небольшое, а выходное рваное, около десяти сантиметров. Все будет нормально, Александра, абсолютно нормально...

Папиков хотел сам проделать первичную хирургическую обработку, но дала себя знать контузия. У него появился небольшой тремор кисти правой руки. Папиков поручил работу молодому дежурному хирургу, находившемуся здесь же, в операционной.

– Давайте, лейтенант, а я буду вам ассистировать, – серьезно сказал Папиков.

– Ничего себе! – усмехнулся чернявый лейтенант. – Это я детям и внукам расскажу!

Лейтенант обколол рану новокаином, иссек все края до максимальной глубины, обработал фурацилином, смочил края йодом и начал шить. В это время Папикова вызвали к начальнику госпиталя.

Дежурный хирург послойно сшил кетгут⁷ мышечные ткани, шелковыми нитками – кожную ткань, в нижнюю оконечность раны ввел турунду⁸, а затем наложил рыхлую повязку из марли, ваты и бинтов так, чтобы содержимое раны отходило и впитывалось как можно быстрее и свободнее.

Утром следующего дня, еще до обхода, Папиков навестил Александру и сказал, что у него есть время сделать ей перевязку.

– Бог с вами, товарищ полковник, это не ваша работа!

– Ладно, – согласился Папиков, – тогда я пришлю того же врача, что был вчера.

Лейтенант, делавший перевязку, на этот раз не поставил турунду. Ему показалось, что все чисто. С медиками так нередко бывает: когда дело касается лечения их самих, то на ровном месте все вдруг пойдет наперекосяк и навыворот. Именно так случилось и с Александрой. К вечеру пятого дня у нее подскочила температура до 39,2 и появилась боль в ране. Александра не стала никого тревожить, решив, что к утру все образуется. К утру температура действительно снизилась, но боль в ране усилилась, стала почти нестерпимой. Она сказала об этом Папикову, который, как всегда, забежал ее проведать.

– На перевязку! – скомандовал Папиков.

Ее отнесли в перевязочную, туда же прибежал и взволнованный лейтенант.

⁷ Кетгут – нитка из кишок мелкого рогатого скота.

⁸ Турунда – небольшая резиновая трубка.

Папиков снял шелковые швы, распустил швы кетгутовые, долго тщательно промывал рану и, только закончив, спросил лейтенанта сухим, бесстрастным голосом:

– Вы почему не поставили турунду?

– Мне показалось, нет отделяемого...

– Вы слишком плотно ушили рану. Надо шить крупными шелковыми стежками, чтобы не стягивать... Потому и не было отделяемого, что вы загнали его вглубь.

Лейтенант побледнел, губы его дрожали, а Папиков миролюбиво сказал:

– Ладно, теперь будете знать. Лейтенант закивал, а сказать ничего не мог, у него перехватило горло: еще бы, так опозориться перед самим Папиковым!

Папиков положил в рану тампон с бальзамом Вишневого⁹ и сам перевязал рану.

– Такие раны – после острого воспаления, – обратился Папиков к лейтенанту, – теперь нужно вести открытым способом. Тот молча кивал.

Ее положили на носилки и понесли. Александра поняла, что теперь она на больничной койке надолго...

III

Антуан вернулся из Франции с такой потерянной в глазах, что Мария не удержалась и спросила его с порога:

– Антоша, что случилось? – Дома она звала его на русский лад Антошей.

– Расскажу, – скованно ответил Антуан, – жаль, не умею врать. Мог бы и научиться, старый дурак, – добавил он саркастически, отчужденно поцеловал Марию в висок и даже улыбнулся, отчего его большие карие глаза стали еще печальнее.

– Будешь ужинать?

– Да. Я весь в пыли. Этот чертов хамсин! Приму душ.

– Давай. Чистое белье я только что положила в твоей ванной.

– Почему ты решила, что я приеду сегодня?

– Не знаю, так показалось. Ты купайся, а я быстренько накрою на стол.

Когда они бывали одни, Мария с удовольствием обходилась без прислуги. Ей очень нравилось делать для мужа все своими руками.

За ужином, чтобы не выпытывать то, что ее встревожило, она говорила о хамсине, который вымотал уже всю душу, о портах, что стояли без работы, об успехах малолетних сыновей Фатимы в изучении русского языка – словом, о чем угодно, кроме главного...

– Странно, – сказал Антуан, когда она уже не знала, о чем ей еще говорить, и умолкла, – странно, мы прожили с тобой почти тысячу дней...

– Девятьсот двадцать семь, – поправила Мария.

– Ты считаешь?

– Нет. Оно само считается, – радостно сказала Мария.

– Тогда пойдем спать! – засмеялся Антуан, и потерянная отступила в его глазах, давая место чистому, ровному свету нежности.

Хамсин ревел за окном, но с Антуаном он был Марии не страшен. С Антуаном она всегда чувствовала себя не просто защищенной, но и как-то по-детски, как-то первобытно обладающей каждой следующей минутой своего бытия.

– Наверное, только в детстве мы и живем нормальной, полной жизнью, а потом начинается суета суета, – сказала Мария.

⁹ Вишневецкий Александр Васильевич (1874–1948) – выдающийся русский хирург; родился в семье полкового врача в Дагестане, умер в Москве директором знаменитого института, которому впоследствии было присвоено его имя. – В палату! Все будет нормально, Александра, – улыбнулся ей Папиков на прощание.

– А ты философ, – добродушно усмехнулся Антуан.

– Все русские немножко философы, поэтому мы и не удержали страну. Надеялись, что смута сама собой рассосется и все встанет на место. Не рассосалось и не встало... Как там моя мамочка, как сестренка? Она ведь совсем взрослая, может, растит детей...

– А почему ты уверена, что твои мать и сестра живы?

– Почему? Повсему! Если бы они умерли, я бы почувствовала, что их нет, а я чувствую, что они есть.

– Убедительно, – лукаво сказал Антуан и тут же всерьез добавил: – Ты знаешь, Мари, я абсолютно уверен в твоей правоте, она понятна мне до печени.

Мария поцеловала мужа в щеку, обняла и прижалась крепко-крепко, как его вторая половинка.

– Если бы Господь был так милостлив и когда-нибудь дал нам свидеться, ты бы очень понравился моей маме. Боже, какая у меня красивая, добрая, святая мама! Боже, какое счастливое детство дали мне папа с мамой!

Марии не терпелось рассказать Антуану о визите английского разведчика, но она удерживала себя изо всех сил. «Нельзя. Я обещала. Нельзя».

Некоторое время оба молчали, невольно прислушиваясь к вою хамсина.

– Вот ты говоришь о своих родителях, а я даже и не завидую. Я никогда не знал родительской ласки и любви, я только читал об этом в хороших книжках. Мать умерла в родах. Отец через два года утонул в озере на пикнике, скорее всего, перепил. Это пристрастие было в его роду семейным, а я, наверное, в маму. Моим попечителем был назначен младший брат отца, холостяк. Меня растили няньки, а дядюшку я видел мельком, он постоянно бывал в разъездах по всему миру и появлялся дома раза три в год. Шести лет меня отдали в закрытый пансион... Дядюшка Жан приезжал ко мне накануне Рождества, всегда подшофе, всегда наряженный, как на бал. Я до сих пор помню запах вина, выпитого им накануне. Животик у дядюшки был небольшой, но очень туго обтянутый жилеткой и от этого круглый, и мне всегда хотелось хлопнуть по нему, как по мячу. До сих пор жалею, что ни разу не хлопнул. Дядюшка постоянно расчесывал специальной крохотной деревянной расчесочкой свои шикарные, густые черные усы. Он привозил мне в подарок какой-нибудь пустяк и потом около часа читал нотации о том, что надо трудиться, учиться... Я слушал его с почтительным унынием, и мне так безумно хотелось хлопнуть по его животу, что я сам держал себя за руки, сцепив их за спиной, как узник. На прощание дядюшка Жан давал мне поцеловать волосатую руку, громко смеялся, трепал меня по щеке и говорил всегда одно и то же: «*A mise – toi bien!*»¹⁰ Как выяснилось позже, он и развлекался, как мог, проматывая состояние моих родителей, а значит, мое состояние. Дядюшка умер задолго до моего совершеннолетия, и мне ничего не досталось, кроме титула, который я не ставил ни в грош, а сейчас рад, иначе был бы у тебя мезальянс. – Антуан закашлялся. По ночам его часто мучил кашель.

Хамсин ревел все глуше, прерывистей, как будто лютый зверь мостился на ночлег.

«Ветер стихает, значит, дело идет к рассвету. К утру хамсин всегда утихомиривается на два-три часа. А Антоша так и не сказал мне главного... В чем дело? Откуда взялась в его глазах такая вселенская тоска?!»

Антуан и Мария были слишком близки друг другу, чтобы он не услышал ее немного вопроса, и он услышал.

– Я летаю с четырнадцатого года, на сегодняшний день двадцать семь лет. Я самый старый действующий летчик во Франции. Всех моих однокашников давно нет. Как пишет мой тезка Экзюпери, некому даже сказать: «А помнишь?» Мы знакомы мельком – всю жизнь летали на разных линиях. А наши рапорты попали к де Голлю на стол в один день. И резолюции

¹⁰ «Развлекайся, как можешь!» (фр.).

почти под копирку. На моем: «Он годится только для фокусов в небе. Обойдемся». А на его: «Он годится только для карточных фокусов. Обойдемся». Говорят, Экс умеет замечательно показывать карточные фокусы, наверное, де Голль когда-то видел. Но я все равно буду драться с бошами, и никакой де Голль меня не удержит!

– Ты посылаешь ему в Лондон рапорт? – едва слышно спросила Мария.

Антуан ничего не ответил.

«А как же я?!» – чуть было не вскрикнула Мария, но промолчала...

Хамсин тихонечко подвывал за окном, скребся в ставни.

– Значит, ты можешь уйти воевать...

– Да. Мне трудно говорить высокие слова. Язык не поворачивается...

– У меня тоже, – сказала Мария. – Я все понимаю, и не надо слов. Я дочь адмирала и знаю с детства: спасти Родину – право любого человека.

– Я не сказал тебе сразу, как только отправил рапорт, потому что боялся его злопамятности. К сожалению, не ошибся...

– А что с нашим Шарлем? – спросила Мария, чтобы уйти от слишком большой темы.

– Он мне не докладывает, но, видно, тоже попал в силки и не знает, как выпутаться.

– Он похитрее тебя, Антуан, и найдет свою дорогу.

– Тут дело не в хитрости.

– Ты прав, – согласилась Мария. – Как карта ляжет.

Они долго молчали, а потом Мария попросила мужа:

– Антоша, пожалуйста, расскажи мне еще о своем детстве.

– Тебе это не скучно?

– Что ты! Детство – самая важная часть жизни.

– Трудно рассказывать о пустом месте. Я был заморышем, и меня иногда обижали сверстники. Учился я очень плохо, так что и учителя меня не жаловали. Когда мне было двенадцать лет, я впервые увидел самолет. В один прекрасный весенний день в ясном небе над нашим пансионом в невысоких горах пролетел самолет. Я провожал его глазами дольше всех, пока он не скрылся за горой...

Скоро из разговоров учителей я узнал, что километрах в двадцати от нас, в долине, вступил в строй военный аэродром. Теперь самолеты летали над нами каждый день. Я понял, что должен стать летчиком. Однажды, притворившись больным, я не пошел на завтрак и сбежал из пансиона. Чтобы не навлекать подозрений, я ушел в легонькой форменной одежде, не прихватив с собой ничего, даже куртку, хотя еще стояла ранняя весна и было не так уж тепло. Я не пошел проезжей дорогой из нашего пансиона в долину, а пробирался по ее краю, бездорожьем, чтобы всегда можно было спрятаться при первых звуках погони. К полудню я так устал, что ноги мои отказывались сгибаться, тогда я впервые в жизни понял, что спускаться с высоты гораздо трудней, чем карабкаться вверх. Это истина, но мало кто приходит к ней в двенадцать лет. В деревушке на полпути к аэродрому я подсел к крестьянину, перевозившему на своей лошадке колбасы, сделанные в деревне специально для продажи в столовую аэродрома. Копченые колбасы пахли так вкусно, что я заплакал, и хозяин угостил меня порядочным куском колбасы. На аэродроме меня отвели к начальнику. Я сказал ему, что должен стать летчиком. Я так и сказал – «я должен», чем вызвал у него улыбку.

«То, что ты должен стать летчиком, похвально, но сначала надо окончить пансион. Неучником не может стать. – Тут он улыбнулся чему-то своему и добавил: – Кроме политика, разумеется».

Короче, меня отвезли в пансион. Через неделю я опять был на аэродроме, и меня снова вернули обратно. Когда я прибыл в четвертый раз, начальник сказал: «А ну-ка, поедем в твой пансион вместе, я хочу поговорить с настоятелем».

Они говорили не меньше часа. Потом призвали меня. Как я сейчас понимаю, и настоятель, и начальник аэродрома были умные, добрые люди. Мне разрешили жить на аэродроме, а раз в месяц привозить в пансион выполненные задания и получать новые. Я окончил пансион экстерном, в пятнадцать лет, и в семнадцать поступил в летное училище, к которому был подготовлен, как никто из моих однокашников. Через полтора года началась мировая война, и нас выпустили из училища досрочно. В декабре четырнадцатого я принял свой первый бой и чудом дотянул до родной полосы. Ну а потом был Верден и прочее, я стал известен в авиации. Так что в двадцать пятом году, когда мы пересеклись с де Голлем, я был давно признанный ас, говорят, это особенно его взбесило.

– Так ты был чем-то вроде юнги на корабле?

– Да. Сыном эскадрильи.

– И таким толковым, что экстерном окончил пансион?

– Ничего подобного! Я всегда был туповат, но ненависть – сильный стимул. Пансион я ненавидел, мне хотелось окончить его как можно быстрее и забыть раз и навсегда.

– А что ты думаешь о любви? – внезапно спросила Мария.

– То же, что и о смерти, – обе нужны, но первая дается не каждому.

– Ты у меня тоже философ.

– Наверное, оттого, что мой прапрадед какое-то время жил в России. Он сбежал туда от Наполеона.

– Прапрадед – четвертое колено.

– Всего лишь? Буду знать. Отец – дед – прадед – прапрадед...

Марии показалось, что он как-то особенно произнес слово «отец», как-то безнадежно.

– А ты бы хотел стать отцом? – спросила она в лоб.

Антуан молчал. Пауза становилась для Марии невыносимой.

Он открыл было рот, но закашлялся и только потом наконец сказал:

– За всю мою жизнь ты единственная женщина... Да, конечно, да... Хорошо бы родить девочку, но и мальчишку тоже ничего...

– А ты любишь меня?

– Я?! С какой стати! – засмеялся Антуан, крепко обнял Марию и дурашливо покатился с ней по широкой постели, щекоча ее шею своими жесткими усами. Она очень боялась этой щекотки, начинала неудержимо хохотать, и ее трудно было остановить.

– Уля тоже мечтает о маленьком, – почти шепотом сказала Мария, когда они отсмеялись, отдурачились и лежали тихо-тихо.

– Желанные дети рождаются редко, – сказал Антуан. – Послушай, ветер совсем стих, как будто его и не было.

– Было – не было. Вся наша жизнь на два такта, а посередине черточка – в лучшем случае, если есть кому тебя проводить и вспомнить.

– Опять философствуешь? – усмехнулся Антуан.

– Просто как-то само собой получается... А я думала, что ты всегда был сильным, мне удивительно, что тебя обижали в детстве.

– Сначала у меня не было детства – одни только страхи, пинки, ненавистные уроки, каждый следующий день я ждал не с радостью, а с безнадежным унынием. Детство началось только с того дня, как я увидел в небе самолет... И затянулось до седых волос.

– Ты еще совсем не седой, только чуть-чуть виски, это тебя не портит.

– Ты добра ко мне, Мари, ты тоже часть моего затянувшегося детства, хотя скоро у меня лоб соединится с макушкой.

– Да хоть с затылком пусть соединяется! Мне все равно... Уля мечтает поехать в Бер-Хашейм к знаменитой знахарке Хуа, – еле слышно добавила Мария.

– И та может помочь? – В голосе Антуана прозвучал явный сарказм.

– Ее знают женщины всей Сахары. Она лечит бесплодие – это факт. Даже в том племени туарегов, где живет сейчас Уля, есть такая женщина, теперь у нее двое детей.

– Ну если двое, тогда надо ехать. Хочешь, и ты поезжай с ней.

– Конечно, хочу, мы так и мечтали.

– Втайне от меня?

– Но ты же не веришь в чудеса?

– Я?! Да я суевернейший из людей. Я даже предлагаю тебе не развивать эту тему, чтобы не сглазить... А что твоя Уля? Ей нравится у туарегов?

– Она там давно своя. Люди любят ее без лести. Ее обожают равно и сами туареги, и их домашние рабы и кланы.

– Если бы не война, я бы свозил вас на самолете, да не с одной, а, как минимум, с десятью посадками. Тут только в один конец три тысячи километров.

– Ничего, мы пойдем караваном, месяца за три управимся. Но ты должен мне пообещать, что не сбежишь на войну до моего возвращения!

– Обещаю. – Антуан нежно и крепко обнял ее.

Марии нравилось, что ее муж обладает большой физической силой, исключительной храбростью, много знает, много умеет, но никогда этим не кичится. Этим он живо напоминал ей адмирала дядю Пашу. Где он сейчас? В какой из Америк?

IV

Александра Александровна вернулась в строй только к концу февраля 1945 года. Да и то благодаря Папикову. Трудно сказать, как бы повернулось дело, не будь Папикова, какой была бы цена врачебной ошибки. Загнанное внутрь острое воспаление, сепсис, гангрена... Всякое могло произойти, может быть, ампутация ноги, а в худшем случае потеря самой жизни. Такая уж у хирургов доля: если они попадают на стол, то сплошь и рядом все идет так бездарно и тупо, с такими нелепыми ошибками, что и нарочно не придумаешь. Наверное, само Провидение напоминает им таким образом об особой ответственности их профессии.

Через каждые два дня Папиков осматривал рану, менял масляно-бальзамические повязки Вишневого.

– Не ваша это работа, товарищ полковник, – не раз пыталась остановить его Александра.

– Не ваше это право, товарищ младший лейтенант, делать мне замечания, – отшучивался Папиков, лукаво взблескивая из-под очков черными печальными глазами. При этом в его сипловатом голосе было столько родственного внимания, что всякий раз после его визита Александра чувствовала необыкновенный прилив сил, и с каждым днем в ее душе возрождалась вера, что она снова заговоренная и ни пуля, ни осколок, ни штык – ничто ее не возьмет!

На седьмой день после ранения Александра встала на костыли, а на одиннадцатый Папиков начал помаленьку стягивать кетгутные швы, стягивал их каждые три дня, пока не сблизил края раны с тем совершенством, на которое только он и был способен в госпитале.

– Все! Скоро рана окончательно гранулируется, и на Восьмое марта будете плясать вприядку. Да и Наташа заждалась, никак не приладится к другим сестрам, – сказал как-то Папиков.

И Александра вдруг обратила внимание, что имя «старой» Наташи главный хирург произнес совсем не так, как, бывало, произносил его прежде. Александра была слишком женщина, чтобы не уловить ту новую интонацию, с которой он произнес имя напарницы. Неужели у них роман?!

Раньше она воспринимала Наташу только как коллегу и особо к ней не присматривалась. Оказывается, она даже не помнила, какого цвета у Наташи глаза.

Лет через пятьдесят, в годы антисоветской власти, на даче у богатой Нади, которая что-то беспрерывно пристраивала к своему дому, работали парни из южнорусского шахтер-

ского городка, где вместе с исчезновением советской власти исчезло для них и право на труд, поскольку шахты позакрывались, а взамен них ничего другого не возникло. Как-то Александра Александровна спросила одного из этих парней:

– Сережа, а сколько лет твоим родителям?

– Не знаю, – был ответ, – чи сорок, чи пятьдесят, я к ним не присматривался.

Вот так и она – работала с Наташей бок о бок и не присматривалась.

Глаза у «старой» Наташи оказались серые, чистые. Наверное, Александра не замечала прежде их цвет, потому что они были тусклыми, а теперь сияли. Значит, у них с Папиковым действительно роман. Вот это новость! И, оказывается, Наташа совсем не дурнушка, и фигурой ее бог не обидел, и цветом лица, и голос у нее приятный, и в каждом движении столько женственности... Конечно, Александра с детства слышала, что «любви все возрасты покорны», но никогда не задумывалась, что это не поэтическая вольность, а практика повседневной человеческой жизни. Пятидесятилетний Папиков и сорокалетняя Наташа были для нее в смысле возможной между ними любви, что называется, вне подозрений, а выходит, что все не так, что они старики только в ее, Александрином, восприятии. «Чудны дела твои, Господи, какая же я зашоренная дура!» Тогда Александре было двадцать шесть лет, и она казалась себе очень немолодой. А в пятьдесят вдруг открылось, что сорок – молодость, а двадцать пять – юность, в пятьдесят она стала присматриваться к шестидесяти, а в шестьдесят примерять на себя семьдесят... Оказывается, человек так устроен, что привыкает жить, втягивается... Как сказано у Есенина: «...к тридцати годам перебежась, всё сильней, прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь».

В госпитале была всего одна женская палата, и располагалась она за кабинетом начальника госпиталя, напротив двери которого у голубой тумбочки всегда стоял дневальный. Женскую палату запрятали за таким кордоном специально, чтобы около выздоравливающих женщин не толклись ходячие из мужских палат. Помимо Александры, в просторной чистой комнате с большим трехстворчатым окном и тщательно выбеленными стенами лежали еще четыре молодые, незамужние женщины. Впрочем, одна была почти замужняя – генеральская фронтальная жена, звали почти жену Ниной, она была черноглазая жгучая брюнетка, с очень короткой стрижкой, отчего особенно выдавалась ее высокая и красивая шея. «А у меня, девчонки, в шейном отделе на один позвонок больше, чем полагается, от этого она такая длинная, в детстве меня дразнили гусыней, а подросла – стала лебедем», – смеялась яркая Нина. Да, она была именно яркая женщина: тонкие черты лица, красиво очерченные губы, тонкая талия при высокой груди, чистая белая кожа, очень нежная, такую обычно называют «королевская», и при всем этом добрый, веселый нрав, можно сказать, бесшабашный. Обычно она и заводила всех на хохот. Все пятеро смеялись, чуть не непрерывно, по любому пустяку, хотя у самой Нины было прооперировано левое легкое и смеяться ей удавалось с трудом. Нинин генерал ежедневно присылал что-нибудь сладенькое или фрукты. Сладенькое было из американских пайков, например горький шоколад для полярников и летчиков дальней авиации. А откуда он брал зимой фрукты, одному богу известно, но, значит, были для кого-то и фрукты... Нина делила все поровну, сначала соседки отказывались, а потом привыкли и брали свою долю как должное.

В тот день генерал прислал духи, пудру, губную помаду, лак для ногтей, тушь для ресниц, кисточки – полный косметический набор в красивой черной лакированной коробке, на которой было вытеснено золотыми латинскими буквами: CHANEL.

– Сашуль, ты у нас московская штучка, все знаешь, прочти, – попросила Александру Нина.

– Кажется, по-французски. На коробке написано: «Шанель». А на флаконе духов почему-то «Шанель № 5» – сами видите. Значит, есть и номера один, два, три, четыре? Может, «Шанель» – название фабрики?

– Ну да, как у нас «Красный Октябрь» или «Клары Цеткин», – подхватила маленькая Верочка.

– Точно, фабрика, – вторили ей лежавшие ближе к окну Нюся и Лиза, – как у нас «Розы Люксембург», а иначе непонятно...

– Ладно, потом разберемся. А пока давайте, девчонки, прыскайтесь духами, пудриться, краситься! – весело скомандовала Нина. – Чур, я первая у большого зеркала!

Нина была хозяйкой нежданно привалившего добра, и ее первенства никто не оспаривал. Большое зеркало висело у них над умывальником, не такое большое – сантиметров сорок на шестьдесят, но и не маленькое, не ручное, какие были у всех.

– Духи – мама родная! Даже и не поймешь, чем пахнут!

– Живут буржуи!

– Верочка, ты не обливайся духами, а прыскайся!

– Еще лучше – только за ушами помазать и чуть шею – так нежнее.

– Хороши у них духи – «пятая шинель»! А какие бывают наши, я и не помню, – когда дошла до нее очередь, сказала Нюся, самая старшая из них, служившая поваром и, наверное, поэтому плотная, краснощекая, как налитая.

Александра и Елизавета мазнули за ушами. Лиза из опаски, потому что еще ни разу в жизни не употребляла духи, а Александра, потому что у нее было слишком острое обоняние и тонкий многослойный аромат духов кружил ей голову¹¹.

Нина попользовалась своей роскошной парфюмерией лишь чуть-чуть. Она инстинктивно понимала, что ей не нужно краситься, а только едва коснуться полных, красиво очерченных губ помадой, нежных щек, выпуклого чистого лба и аккуратного носа пудрой, а ресницы и брови лучше вообще не трогать, иначе могут пригаснуть ее лучистые карие глаза – из тех, которые Александра называла «светоносными».

Когда через двадцать лет Александра Александровна пыталась вспомнить, какой байковый халатик – голубоватый, серый или палевый – был в тот день на Нине, то так и не смогла, значит, та действительно была красавица. И лицо, и фигуру, и прирожденный вкус, и добрый нрав щедро отпустил ей Господь, но именно о таких женщинах сказано: «Не родись красивой, а родись счастливой».

За месяц лежания в одной палате женщины хотя и не перезнакомились коротко, но все-таки кое-что узнали друг о друге – ровно столько, сколько каждая из них сочла нужным рассказать. При всей ее вроде бы неприступной красоте, которая била в глаза и многим казалась надменной, самой открытой из всех была Нина. Она рассказывала о себе просто и со смешком, хотя веселого в перипетиях ее жизни было мало. Обычно после ужина они «точили лясы».

– Я замуж выскочила, еще семнадцати не было, – за день до того, как генерал прислал ей «Шанель», 29 января 1945 года, рассказывала после ужина красивая Нина. – А моему Коле только девятнадцать стукнуло, он токарем на заводе работал, на Ростсельмаше. Из Мелитополя мы с мамой по хуторам помыкались, а потом осели в Ростове-на-Дону. Мама в школу пошла преподавать русский язык, и нам дали комнату в восемь квадратных метров. Я тогда фабзауч¹²

¹¹ Знаменитейшая французская кутюрье Габриэль (Коко) Шанель родилась в 1883 году в провинции, в бедной многодетной семье, умерла в 1971 году, как это часто случается с публичными персонами, в жестоком одиночестве, в номере «люкс» парижского отеля «Ритц», напротив которого находился ее знаменитый дом моды «Шанель» с годовым доходом 160 миллионов долларов. Коко Шанель создала образ женщины XX века. Духи «Шанель № 5» созданы эмигрантом из России Эрнстом Бо в 1920 году. По просьбе Коко Шанель он собрал в пробирки двадцать различных композиций цветочных ароматов. Коко указала на пробирку с номером пять, велела добавить туда чуть-чуть запаха ландыша. Так появились на свет духи «Шанель № 5», поступившие в продажу в 1921 году. Ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого номеров «Шанели» не было. Сама Коко так говорила о «Шанели № 5»: «Духи для женщины, которые пахнут, как женщина!» Она вообще была склонна к афористичности. Ей, например, принадлежит высказывание: «Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально».

¹² Фабзауч – фабрично-заводское училище.

только закончила. На том же заводе, что и мой Коля, работала учетчицей как грамотная. Переехала к Колиным родителям, у них своя халупа была. Поженились зимой тридцать пятого, и сразу я понесла. Летом мой Коля утонул в Дону. Ребеночка я с горя скинула. Вернулась к маме. А больше и не беременела с тех пор ни разу.

– Ну нет! – вдруг прервала ее из своего угла тихая Лиза.

– Ты что, лучше меня знаешь? – делано и вместе с тем с испугом в голосе как бы удивилась Нина.

– Может, и лучше! У меня и мамка, и бабка, и прабабка – повитухи. Только самой бог не дал. А ты, мать, понесла и сейчас.

– Но это еще неточно! – до слез покраснела Нина. – Сплюнь три раза!

– Тьфу! Тьфу! Тьфу! Не бойся, я не глазливая.

Все поняли, что Лиза попала в цель. Такая у нее была профессия – попадать в цель. Женщины в ее роду помогали людям выйти на этот свет, а она отпращивала их на тот. Лиза была снайпером. Об убитых ею немцах она никогда не говорила: «Я убила его», а всегда – «Я сняла». Она была не просто снайпер, а ас, потому что «работала» только против немецких снайперов. То, что на войне убивают, знала каждая, а Лиза знала каждого «своего» в лицо.

– Не снятся они тебе, Лизка? – спросила ее однажды простодушная повариха Нюся. – Люди все-таки...

– Пока нет. А насчет людей что я тебе скажу: для своих они люди, а для нас – нелюди. Кто кого...

После паузы все попросили Нину рассказывать дальше, всем хотелось затушевать возникшую неловкость, и все смотрели теперь на нее другими глазами и думали: «А может, Лиза права? Хотя и незаметно...» Лежавшие в палате женщины были бездетны, так что они позавидовали Нине белой завистью. Даже Александра, которой зависть была почти несвойственна.

– Значит, так, – продолжала Нина, – ухажеров у меня с детства было полно, но ничего путного. Наверное, путные боялись ко мне подходить – думали: или отошью, или, раз красотуля, – значит, шалава. После мужа долго у меня никого не было. Потом появился мужчина на пятнадцать лет старше, мне он казался чуть ли не стариком, но скоро привыкла.

– Красивый? Женатый? – полюбопытствовала Нюся.

– Красивый? Да нет, обыкновенный. Невысокого роста, крепенький, с залысинами на лбу, светлоглазый. Но очень уверенный в себе, не наглый, а уверенный. С юмором, но не балабол. На том же заводе, что и я, инженером работал. Женатый. Две девочки школьницы. Как он говорил: «Я не помню себя неженатым». В нашу с мамой восьмиметровую комнатку привести его я не могла, в его дом тоже был путь заказан. И где мы с ним только не болтались, по каким углам, по каким кустам, проулкам, закоулкам! Знала, что он мне не нужен, а отстать не могла. Я вот сказала про него «старый», а когда познакомились, ему и тридцати пяти не было. Теперь я понимаю, что это не старость для мужчины. Ходила я, как отравленная от этой любви, от того, что всегда нужно было прятаться, – иногда даже во рту появлялся такой привкус, как будто свинца наелась. Каждый раз говорила ему «не приду» и каждый раз бежала со всех ног. Мама сильно переживала за меня, даже к бабке повела. Только та бабка нашептала, а назавтра война. Его мобилизовали, и с глаз долой – из сердца вон. Наверное, бабка помогла, через полгода я и думать о нем забыла. В сорок втором сама подалась на фронт, может, его надеялась встретить, не знаю. Слава богу, не встретила! А тут мой генерал увидел меня издали и выдернул к себе в штаб. Ну а там познакомился он со мной как бы случайно, и все начало складываться. Без нахрапа, по-человечески, за это я его зауважала, а теперь кажется, что до него и не было ничего, что все бывшее мне приснилось.

– Повезло, – сказала повариха Нюся. – По тебе: ты и красивая, и приличная.

– Спасибо, Нюся! – засмеялась Нина.

– Говорят, он разведенный? – вставила снайпер Лиза.

Александра и Верочка молчали. Первая потому, что не считала нужным расспрашивать, а вторая оттого, что все, о чем рассказывала Нина, ей, девственнице, было до такой степени интересно, так горячо, что зеленые глазки ее горели и даже нос покраснел, хоть она и пудрилась.

– Нет. Жена умерла в родах. Остался сын. Сейчас два годика, с его мамой в Москве. Мама Анфиса Яковлевна в каждом письме к Федору Петровичу и мне привет пишет. Он мое фото ей посылал. Сказал: «Мама у меня по глазам определяет людей». Значит, определила, что я не такая уж пропащая, если приветы передает.

Нина замолчала. И никто больше ее не расспрашивал. Все слушали, как шумит за окном ветер, и каждая думала о самом сокровенном для женщины – о материнстве... О своем собственном материнстве, возможном или невозможном. На том они и уснули, кто до отбоя, кто после.

А сегодня, утром 31 января 1945 года, Нинин генерал прислал коробку «Шанели», и все они красились, душились трофейными духами и целый день хохотали, как заведенные.

Александра отказалась красить губы.

– Ты почему не красишь? – спросила ее Нина.

– Не для кого.

– Ну это ты брось! У тебя муж не погиб, и ты его не похоронила, как я своего Колю. Твой пропал без вести, а это еще ничего не значит. Так что не наклейкай беду – красься, ему это будет приятно.

Александра согласилась и чуть подкрасила губы.

Скоро в палате стоял такой запах духов, что пришлось приоткрыть дверь. Открывать еще и форточку побоялись, чтобы не просквозило кого-нибудь. Оказывается, все хорошо в меру и даже прекрасное от перебора может измениться. А когда потянуло «Шанелью» по всему этажу, то к ним в палату, вежливо постучавшись, вошел сам генерал Иван Иванович – начальник госпиталя. Пока он стучался и покашливал за дверью, все пятеро успели шмыгнуть под одеяла.

– Смирно! – звонко подала команду Нина, и женщины дурашливо вытянулись под одеялами.

– Вольно! – сдерживая смех, скомандовал генерал. – Как славно, что вы у меня не просто военнослужащие, а прежде всего женщины, да еще какие хорошенькие! А скоро мир, девочки. Скоро по домам. Дай бог, чтобы все мы добрались до родного порога. – И вдруг генерал широко, троекратно перекрестился своею культей, затянутой в лайковую перчатку.

То, что генерал перекрестился, удивило всех, особенно Александру, и, когда Иван Иванович взглянул на нее с улыбкой, она ответила ему тем же.

– Ну, жизнь хороша, а, Александра?

– Так точно, товарищ генерал-майор медицинской службы! – отчеканила Александра бодрым голосом.

– Прелесть какая! – сказал Иван Иванович. – Как я за тебя рад. Разморозилась, слава богу!

И вновь Александру тронуло его «слава богу!», и она подумала, что он не простой, не примитивный человек и не боится говорить так, как хочет, не боится даже креститься, что, конечно же, в советской армии, как минимум, не приветствуется, а тем более у генерала.

– Небось, Федор Петрович прислал? – подходя к Нининой тумбочке, по-свойски спросил Иван Иванович.

Нина кивнула.

– Молодец Федор! Я с ним пересекался. Смелый и порядочный. А духи французские, из самых лучших, трофейные.

– А что на коробке написано? – запросто спросила Нина.

– Шанель номер пять. Шанель – имя знаменитой француженки, у которой до войны был свой дом модной одежды. И парфюмерию она выпускала, да и сейчас, наверное, выпускает.

– Одна, что ли? – оторопело подала голос из своего угла краснощекая повариха Нюся со смешно, неумело накрашенными губами.

– Почему одна? – вопросом на вопрос отвечал генерал. – У нее пошивочные мастерские, парфюмерные фабрики. Она хозяйка.

– Это как у нас при буржуях? – робко спросила Лиза.

– Угу, – пробурчал в ответ генерал, и улыбка сошла с его рябого, темного лица. – Всего хорошего! Красьтесь на здоровье, душитесь – это помогает жить. Выздоровливайте! – Генерал поднял к фуражке правую руку, затянутую поверх протезированной кисти в черную лайковую перчатку. – Пока!

Александра обратила внимание на то, что пальцы в перчатке не стоят дощечкой: большой, средний и указательный собраны в щепотку, а безымянный и мизинец чуть на отлете. Александра подумала, что так сделано специально, для естественности, и выходит, что крестился генерал тремя перстами, пусть и протезными.

– Хороший дядька, – грустно сказала вслед генералу красивая Нина. – И ничего мы о нем не знаем, ничегошеньки... И о нем, и друг о друге...

Веселые искорки в глазах молодых женщин как-то сами собой исчезли, и в палате наступило продолжительное молчание. Было слышно, как во внутреннем двореке госпиталя колют дрова.

– Липы спилили с аллеи, все, – сказала повариха, – дров надо много.

Никто не поддержал разговор о липах, хотя все знали, что они вековые.

При бывшем немецком госпитале была своя котельная, в палатах паровое отопление. К январю немецкие запасы угля кончились и взять его было негде, хотя и воевали в Домбровско-Сандомирском угольном бассейне. Шахты пока еще были заминированы или затоплены водой.

Александра вспомнила текучую дорожку солнечных пятен на липовой аллее, вспомнила «немчика» Фритца, Папикова, с которым познакомилась в тот летний день – первый их день на земле этого фольварка, в этом бывшем немецком госпитале.

«А Нина права, – подумала Александра, – наш генерал хороший человек, и мы все, в общем, хорошие, если взять каждую в отдельности, у каждой своя жизнь, а для кого-то мы и не женщины, и наши солдатики не мужчины, а просто пушечное мясо, и считают нас тысячами, сотнями тысяч, миллионами...»

– А что, девчонки, – прервала молчание Нина, – вот мы сошлись здесь случайно и так же разбежимся и мало чего узнаем друг о друге. А давайте рассказывать о себе по очереди. И время скоротаем от ужина до отбоя, а? Например, сегодня я рассказываю, раз уж начала, а вы киньте жребий, и не будем киснуть вечерами.

Предложение было принято, и сразу после ужина, который им принесли в палату, равно как приносили завтраки и обеды, Нина заговорила.

– Я мелитопольская. Отец был грек, но я его не помню. Мама – русская, жива-здоровая, и я на ее фамилии – Круглова Нина Гавриловна, а на самом деле – Гавриловна. Отца убили, когда я только родилась.

– Белые? – спросила словоохотливая молоденькая Верочка.

– Сиреневые. Откуда кто знает?!

За окном солдат все колот на дрова липу и с каждым ударом топора громко, молодецки кхакал. И это его мерное «Кха!», «Кха!», и легкий звон разлетающихся поленьев словно откалывали секунду за секундой и навечно отбрасывали в бездну минувших дней.

«Родная душа, – подумала о Нине Александра, – а ведь сначала она показалась мне такой расфуфыренной, заносчивой дурой».

– Девчонки, не перебивайте! И особенно ты, Верочка, не суй свой конопатый нос куда ни попадя, – сказала Нина.

– Он уже не конопатый, я твоей пудрой попудрилась, – хихикнула Верочка. – Извини, Нинуль, больше не буду. Давай рассказывай.

– Значит, так. Я помню себя с двух лет. Ничего до этого не помню, а помню только, как мы с мамой ехали высоко на сене, на волах, и так сильно пахло свежим сеном, что я хватала его душистыми пучками и нюхала изо всех силенок. Это потом мы с мамой определили, что мне тогда было два годика, – шел двадцатый год, и мы жили не в городском доме, а у хохлов на хуторе, и мама возила хозяйское сено, она его и косила, и копнила, и скирдовала. Скирды были огромные, я очень любила за ними прятаться от мамы, а когда она меня ловила, мы так смеялись! В моей памяти жизнь началась с этого сена, а что было со мной раньше, то это была вроде как мамина жизнь вместе с ее малюткой Ниной.

– Ой, девки, а я себя так смешно помню! – оживилась белобрысая повариха Нюся. – Мы с Клавкой близняшки, и зимой, перед заводом, мама всегда возила нас к бабушке на другую улицу на санках. Везет она нас, снег белый, еще темно, мороз трещит, я так и помню: «хруст-хруст-хруст-хруст» – хрустел под мамиными ногами снег. Это самое первое, что я запомнила. Я сидела сзади, у спинки, а Клавка спереди, у меня на ногах, и из-за нее мне было не видно маму, ну я и столкнула Клавку на дорогу, и мне стало хорошо видно мамину спину и ее руку, которой она тянула санки за веревочку. Но тут такой ор поднялся! А кто орал, Клавка, или я, или обе мы вместе, не знаю. Мама бросила санки и побежала назад, за Клавкой.

Хотя и наступила пауза, но Нина не собиралась продолжать свой рассказ, потому что понимала, как хочется ее соседкам сейчас же, немедленно, вспомнить свой первый выход из младенческого полубытия в мир осознаваемой жизни.

Пауза затягивалась.

– Верочка, давай, – предложила Нина.

– А я ничего такого не помню подряд, – испуганно, по-детски прижала к щекам ладошки Верочка. – Как-то все в куче. Надо сильно подумать!

– Подумай, – сказала Нина, – память у тебя девичья, вот и не помнишь. Тебе сколько лет?

– По документам двадцать один.

– А без документов?

– Не знаю и не скажу! – игриво засмеялась Верочка.

– Если ты сбежала на фронт сразу после школы, в шестнадцать, а на фронте ты с сорок третьего, значит, двадцать седьмого года рождения. Слушай, а почему ты сбежала?

– Почему? Какая ты, Нина, странная! У меня мама и папа историю в школе преподавали. А тут история делается, а я буду за печкой сидеть?!

– Понятно. Значит, тоже хочешь преподавать историю. Ну валяй! Вспомнишь первое впечатление, тогда и скажешь. А пока ты, Лиза. Какое у тебя воспоминание?

Снайпер Лиза была самая неприметная среди них: малорослая, худенькая, сутуловатая, узкоплечая, с мелкими и как бы стертými чертами лица. Правда, когда она подкрасилась, попудрилась, подвела брови, стала очень даже ничего, прямо-таки миловидная. Такие лица высоко ценят гримеры: артистов с блеклыми лицами они делают настоящими красавцами и красавицами – грим хорошо ложится, ничто не мешает.

– А мы расказаченные, – начала Лиза.

– Как это «расказаченные»? – удивилась Верочка. – Мы по истории не учили. Наверное, раскулаченные?

– Нет. Раскулаченные были вы, русские, хохлы и прочие, а казаки были расказаченные.

– А вы что, не русские? – озадаченно спросила повариха Нюся.

– Мы тоже русские, но другие. Нас рассказали, и стал голод. Помню, как я всегда хотела есть, а мама делала оладушки из лебеды с половой, на воде. Вот как я ждала эти оладушки, только и помню, а больше ничего не помню.

– А ты? – обернулась Нина к Александре.

Александра была не готова к откровениям. Если бы этот разговор случился до войны, а точнее, до того момента, как мама рассказала ей, что она никакая не дочь уборщицы Ганны Карповны и красноармейца Галушко, а графиня Мерзловская, то, скорее всего, она рассказала бы сейчас о своем первом жизненном впечатлении, тем более что оно сохранилось в памяти яркой картинкой. Да, раньше, наверное бы, рассказала, а теперь все так запуталось... И что ей рассказывать?.. Про уборщицу тетю Нюру или про графиню Анну? Та смута, тот дисконформат, что поселились в ее душе в последние годы, не давали возможности ответить взаимной искренностью подругам по несчастью. Александра остро позавидовала Лизе, которая не побоялась сказать «мы рассказанные», не побоялась признать себя изгоем¹³. Лиза удивила Александру еще сильнее, чем осенивший себя крестом генерал. Снайпер Лиза пришла на войну из глухой таежной деревни, где главным промыслом была охота, отсюда она и снайпер. И пришла на войну Лиза не как казачка, а как сибирячка, и наверняка нигде не было записано, что она казачка, а она возьми и ляпни!

Александра Александровна навсегда запомнила, как в конце войны в людях что-то сдвинулось, особенно в тех, кто не раз видел смерть лицом к лицу и выстоял с честью. Такие люди уверились в своих заслугах перед Отечеством, подняли голову и стали позволять себе то, что в начале войны было для них просто невыносимо. Запомнила она и то, как быстро власть почувствовала этот опасный для нее дух вольности и тут же дала понять победителям, что они никакие не личности, а те же поднадзорные, что были до победы. Почти все прославленные полководцы, начиная с маршала Жукова, были отправлены командовать войсками в провинцию, а тех, что помельче, просто ломали через колено власть предержащие холуи, отсидевшиеся в тылу. Героев попроще, из народа, пачками отправляли назад в народ, точнее, в ту его часть, что томила и гибла в лагерях за колючей проволокой. А в 1947 году случился в стране голод, и великий духовный подъем, испытанный нацией в дни войны и победы, был окончательно сломлен. Все это Александра Александровна горько помнила всю жизнь...

А первое ее ощущение себя отдельной от всего остального мира, конечно же, сейчас пришло на память. Странно, но ее воспоминание было похоже на Нинино. Та вспомнила воз, на котором она лежала и нюхала свежее сено, а Александра могла сказать о себе, что первым ее воспоминанием были звуки пахучих струй молока, ударяющихся о подойник. Мама доила корову Зорьку и не велела Сашеньке подходить слишком близко, а она все-таки подошла к корове вплотную и погладила по атласной ноге свою крохотной ладошкой. Корова блаженно приняла ее ласку. Александра до сих пор помнит, как сладко замерло ее сердечко от этого прикосновения.

– Сашуль, ну рассказывай! – повторила Нина.

– Давайте еще приоткроем дверь, а то слишком духами пахнет, – сказала Александра. Не вставая с кровати, она взяла стоявший у изголовья костыль и ловко приоткрыла им высокую дверь, крашенную белой масляной краской.

Из соседнего с палатой кабинета начальника госпиталя послышались шуршание и треск настраиваемого на Москву радиоприемника, а потом, как всегда во время вечерних известий, раздался неповторимый голос Левитана: «От Советского Информбюро. Сегодня, 31 января

¹³ Это в конце XX века слова «раскулаченные» и «рассказанные» потеряли свой изначальный злобный смысл. А в те далекие годы такое было подобно клейму на лбу. «Рассказывали» казаков, т. е. уничтожали их как сословие, а «раскулачивали» тех тружеников, которые сумели выбиться из нищеты. Бывало так, что «кулаками» считалась семья, имевшая лишь одну корову и десяток кур. Очень многих из «рассказанных» и «раскулаченных» ссылали в Сибирь. По этапу, пешим ходом. Так погибли миллионы наиболее крепких, наиболее подготовленных к трудовой жизни крестьян.

1945 года, утром, в районе реки Одер погиб Герой Советского Союза генерал... – на какие-то секунды звук нарушился, затрещало, защелкало, а потом диктор закончил: – ...Федор Петрович. Похороны состоятся в Москве».

Жуткая тишина наступила в палате. Все знали, что это и есть Нинин фронтовой муж, духами которого они весь день душились, пудрой пудрились, помадой красились и хохотали до слез.

А в госпитальном дворике снова кололи дрова: «Кха!», «Кха!»

V

Разыскания Марии в портах Бизерты и Туниса не дали ей ровным счетом ничего. Все сходилось к тому, что никакие тяжелые грузы, а тем более танки, не поступали очень давно. Значит, господин Хаджибек не сыграл за ее спиной? А если Атлантическое побережье серьезно прикрыто англичанами, то откуда в Африке столько немецких танков, к тому же тяжелых? Провести незаметно такой конвой невозможно. И все-таки... немецкие танки есть. Этот факт был сообщен ей праправнуком Пушкина вполне недвусмысленно. Как сказал тогда, во время своего неожиданного визита на виллу Марии Александровны капитан британской разведки Джордж Майкл Александр Уэрнер: «Ливийская пустыня чуть ли не кишит немецкими танками, а нашим самолетам-разведчикам остается только подсчитывать их с высоты».

Чтобы развеять последние сомнения, Мария поехала к приболевшему инженеру-механику Ивану Павловичу Груненкову, отцу Михаила, который когда-то пригрезился ей суженым. Год назад она уже бывала в доме Ивана Павловича: пришло известие о гибели Михаила, и Мария ездила в его семью выразить соболезнование. Французская подводная лодка, на которой после выпуска из училища служил Михаил, была торпедирована немецкой подводной лодкой у берегов Марокко и осталась лежать навечно в море... Так и почил ее царевич – в железном ящике... Мария пережила его смерть довольно глухо, отстраненно, наверное, оттого, что не могла представить Михаила мертвым. Уход этого юноши из жизни был для Марии почти ирреален; тогда она еще не знала на собственном опыте, что война уносит лучших...

Как и многие другие русские, Груненковы жили в так называемом «русском» квартале на окраине Бизерты, на взгорье, откуда открывался пространный вид на Тунисский залив. У них был не наемный, как у большинства русских, а свой дом, правильнее сказать, домик, который отец и сын построили своими руками от фундамента и до кровли, крытой оцинкованной жестью, доставшейся им еще из тех запасов, что прибыли сюда на плавучих мастерских «Кронштадт», трюмы которых были полны строительными материалами. Хотя сам корабль французы и ухитрились забрать себе, но кое-что все-таки удалось перед этим свезти на берег: кое-какие станки, инструменты, приспособления, в том числе и тонны оцинкованного железа, которые уже на берегу куда-то исчезли. На память об этом железе только и осталась небывалая для здешних мест двухскатная крыша домика Груненковых, ярко вспыхивающая на солнце.

Перед домиком был разбит палисадник с подсолнухами, прекрасно прижившимися в Африке. Двери белого домика были распахнуты настежь, наверно, для проветривания, а Ивана Павловича Мария нашла на терраске, заплетенной мощными виноградными лозами, на которых только зазеленели листья. Инженер-механик сидел в стареньком кресле-качалке и тупо смотрел в просвет между еще очень нежными в эту пору виноградными листьями.

Мария постучала по узеньким деревянным перильцам терраски.

Иван Павлович медленно повернул голову, а увидев знатную гостью, не проявил ни малейшего удивления.

– Проходите, – глухо сказал он, вставая с кресла, слегка поклонился и подал Марии старенький венский стул. Таких стульев завезли они в 1920 году в Тунизию великое множество еще со складов в Севастополе. (И сейчас, в начале XXI века, эти легкие стулья можно увидеть в

единственной православной церкви в столице Тунисии городе Тунисе, построенном практически на месте бывшего Карфагена, старенькие венские стулья цвета луковой шелухи.) Выждав, пока Мария присядет на стул, Иван Павлович снова опустился в кресло.

– Чему обязан?

– Иван Павлович, у меня к вам две просьбы и обе важные. – Мария взяла паузу.

Инженер-механик оставался безучастен. Его когда-то синие глаза выщвели, потускнели, в них почти не было жизни.

– Разрешите дать вам денег на лечение?

– Я здоров. В порту нет работы, поэтому сказался больным. Мне тяжело торчать на работе без дела.

– Ну все равно. – Мария полезла в сумочку за деньгами.

– Нет, – властным жестом остановил ее Иван Павлович, – не возьму. У нас все в порядке. Я работаю. Жена прибирает в богатом тунизийском доме. Дочка репетиторствует. Хватает.

– Ну пожалуйста!

– Спасибо. Нет.

– Извините. А вторая моя просьба вот в чем: вспомните, могли ли разгрузиться у нас танки и когда?

– Чьи?

– Немецкие.

– Немецкие? – Лицо Ивана Павловича помолодело, глаза наполнились ясным светом. – Я бы такого не пропустил! Немецкая муха теперь мимо меня не пролетит, не то что танк. У меня с ними теперь навсегда свои счета.

– И все-таки вы подумайте, мало ли...

– Тут и думать нечего, – усмехнулся Иван Павлович. – В последний год в наши порты вообще не поступало никаких тяжелых грузов.

На прощание Мария попросила разрешения сорвать виноградный листик.

– Пока они очень нежные, – сказала Мария, – а через два-три дня станут совсем другими, не новорожденными.

Иван Павлович поднялся с кресла, сорвал зеленый листик и бережно протянул его Марии на разбитой постоянной работой и от этого заскорузлой широкой ладони. Мария успела заметить, что линия жизни у Ивана Павловича очень длинная.

– Положите между страницами хорошей книги, – сказал инженер-механик, – и, может, вспомните когда-нибудь моего Мишу, меня, наш домик, этот день...

Взяв с ладони Ивана Павловича еще опущенный тончайшими ворсинками ярко-зеленый виноградный листик, Мария поклонилась хозяину в пояс и сбежала по каменным ступенькам терраски.

День стоял предлетний, тихий, с высоким пустынным небом, с теплым свежим ветерком с залива, который в простонародье называется моряной, а по-научному – как в России, так и здесь – бриз.

Мария огляделась вокруг, стараясь запомнить и маленький домик Груненковых, искусно сложенный из белого известняка, и такой малороссийский, такой родной палисадничек, и темную глубину открытой настежь двери, из которой тысячи раз выходил когда-то смутивший ее душу юноша, выходил, а теперь не выйдет; и блеск мягкого солнышка на белых лакированных крыльях ее кабриолета, и теснящиеся домишки русского квартала, и звонкий женский крик: «Катя, домой!», и синюю гладь Тунисского залива, и гордого Ивана Павловича, наотрез отказавшегося от ее денег, и вдруг разрезавший издалека округу заунывный клич муэдзина, призывающего правоверных на молитву. Мария поцеловала нежный зеленый листик, понюхала его, стараясь определить, чем он пахнет. От едва народившегося виноградного листика исходил запах вечной жизни – так ей показалось, а может быть, так и было на самом деле. Мария

с легким сердцем села в машину, а по приезде домой, как и просил Иван Павлович, положила виноградный листик в хорошую книгу – в Библию. Более важной книги она не знала.

VI

Красивую Нину, маленькую конопатую Верочку, неприметную снайпершу Лизу и краснощековую повариху Нюсю начальник госпиталя комиссовал по состоянию здоровья. Он уволил их из армии подчистую не потому, что в этом была объективная необходимость, а оттого, что война заканчивалась и старый генерал не захотел рисковать молодыми жизнями еще бездетных женщин, как бы припрятал их от огня на свой страх и риск.

Александра осталась в строю в связи с острой нехваткой в госпитале операционных сестер высшей квалификации. Собственно говоря, она была единственная в своем роде, так что уволить ее не представлялось возможным, тем более что поток тяжелораненых нарастал с каждым днем. В дальнейшем сложилось так, что снайпер Лиза с простреленной левой грудью и повариха Нюся со сквозным ранением правого плеча навсегда исчезли из ее жизни, а судьбы перенесшей операцию на легких красивой Нины и раненной по касательной в малую берцовую кость левой ноги молоденькой Верочки еще не раз пересекались с ее судьбой.

Уходя из госпиталя, Нина захватила с собой коробку CHANEL, а флакон с духами забыла на тумбочке. В тот вечер, когда все они слышали о гибели Федора Петровича, мертвый генерал уже летел для захоронения в столицу и был где-то над Киевом. Начальник госпиталя Иван Иванович сразу же дозвонился в штаб армии, о чем сообщил Нине, так что она уехала в Москву к самому Федору Петровичу, к его матери и к его двухлетнему сыну от официального брака. На всякий случай Александра дала ей Надин адрес и адрес своей больницы. Она надеялась, что когда-нибудь встретится с Ниной и вернет ей флакон «Шанели». Духами она с тех пор не воспользовалась ни разу, а флакон иногда рассматривала. Он был простой прямоугольной формы, но почему-то удивительно изящный. Глядя на флакон из неведомой Франции, Александра всегда думала о сестре Марии, туманно воображала дальние страны и представить себе не могла, что когда-то этот прямоугольный, подчеркнута элегантенный флакон обернется против нее неопровержимой уликой – вещественным доказательством...

VII

Вскоре Мария и доктор Франсуа прибыли в пустыню, на главную стоянку царька Исы и его единственной жены Ульяны.

В Сахаре не бывает вечера как сумеречного времени суток, а после бела дня сразу наступает темная ночь, осененная переливчатыми звездами и зыбким светом Млечного Пути. И все-таки скажем так: вечером в честь Марии и доктора Франсуа был устроен пир. Икланы, чернокожие рабы туарегов, зарезали десятка полтора молодых барашков и, едва освежевав их, принялись варить, жарить, запекать в золе, притом все это делалось одновременно, так, чтобы яства успели к столу разом.

– Запахи – ошеломляющие! – потянув ноздрями, сказала Мария по-русски. – Так вкусно пахнет, что можно и не есть, а сыт будешь!

– Не думаю, – также по-русски отвечала ей хозяйка туарегской стоянки.

Высокие костры в разных местах огромного круга как бы гасили лучистый свет звезд над Сахарой. Старики туареги сидели отдельно, старухи отдельно. Юноши и девушки образовали малый смешанный круг. За теми кострами, что горели по периметру большого круга, разместились икланы, как всегда довольствующиеся объедками со стола туарегов, но все-таки не обделенные праздником, а веселящиеся еще более самозабвенно, чем их хозяева.

Высокорослый иклан подвел белого коня Исы. Сам царек снял с его круп львиную шкуру и широким жестом постелил наземь для Марии и доктора Франсуа, что считалось знаком высшего уважения среди туарегов.

Лица туарегских мужчин и юношей были закрыты тонкими синими покрывалами так, что были видны лишь глаза, а лица девушек и женщин блистали во всей красе. Мария удивилась, как много красивых лиц среди туарежанок. Женщины и девушки были тоже в праздничных синих одеждах, с открытыми шеями в золотых и серебряных монистах, с многочисленными браслетами и кольцами на руках. С детства Мария привыкла первым делом смотреть на руки человека – так научила мама. И теперь от нее не ускользнуло, насколько красивы руки туарежанок, да и сами они были одна лучше другой. Но краше всех оказалась Ульяна – на ней был накинут короткий белый хитон, перехваченный в талии широким алым поясом с золотой сканью и открывающий ее стройные ноги выше колен, а на левом предплечье, в специальной петле, блистал маленький кинжальчик – признак высшей власти в племени.

Старики и старухи жевали табак. Молодежь водила хороводы, притом юноши кружились в одну сторону, а девушки в другую. Икланы били в тамбурины и танцевали свои танцы, исполненные необыкновенной грации и бешеного темпа.

К мясным блюдам молодые рабыни подали в кружках верблюжье молоко, разбавленное водой и приправленное душистым диким медом с горных отрогов Ахагара, что на границе с Алжиром и Марокко.

Пир явно затягивался, и Мария с Улей тихонько отошли за костры метров на сто, в манящую черную глубину пустыни.

– Нам нужно сходить с караваном в Ливию, – сказала Мария. – Хотя это три тысячи верст, твои туареги прекрасно знают туда дорогу. В Бер-Хашейме мы должны посетить знахарку Хуа, которая лечит от бесплодия.

– Я о ней слышала. Хорошо бы, – охотно согласилась Уля.

– Вот и ладно. Тогда поговори с Исой и вели снаряжать караван. Дня три-четыре я побуду туарежанкой, пообвыкнусь с вашими нарядами, а доктор Франсуа вернется домой.

В начале следующей недели караван двинулся на запад. Он был снаряжен наилучшим образом, с большими запасами воды, еды, с подарками для Хуа. Помимо Марии, Ули и двух чернокожих рабынь при них, караван состоял из туарегов – погонщиков пятнадцати верблюдов и пяти туарегов личной охраны Марии и Ули, тех самых, которых Мария спасла от расстрела. Тут важно заметить, что Мария запретила туарегам брать с собой огнестрельное оружие.

Через две недели утомительного пути Мария, наконец, увидела то, что искала, – огромную, чудовищную тучу пыли, катящуюся по пустыне на восток, к боевым порядкам англичан. В щель паланкина она рассмотрела в свой восемнадцатикратный морской бинокль движущиеся в потоках пыли легкие итальянские танки, которые тащили за собой на тросах кустарники и деревья, привязанные корнями к танку. Кроны в хвосте создавали тучи пыли, имитировали наступление тяжелых немецких танков. А тяжелый настоящий танк Мария разглядела только один, видно, отправленный в поход для пущей важности, чтобы он мог бабахнуть издали натуральным снарядам.

«Неплохо, – подумала Мария. – Ай да молодец этот Роммель! Как сказали бы у нас в России: все проще пареной репы. Здесь он создает видимость атаки, а сам ударит совсем в другом месте. Неплохо. Очень ловко».

Казалось, тайна Роммеля была разгадана и, если бы не мечта о ребенке, можно было поворачивать домой, но Мария решила продолжить путь, добраться до Триполи, посетить знахарку и одарить ее честь честью, независимо от того, что та скажет. Больше всего на свете Марии хотелось родить ребенка, и к тому же что-то подсказывало ей, что разгаданная ею тайна Роммеля не единственная, а есть что-то еще, – ведь говорил же Джордж, что английские самолеты-разведчики засекают в пустыне множество тяжелых танков.

VIII

Два длинных ряда сочащихся и от этого золотисто поблескивающих на солнце, еще не потемневших пеньков на месте вековой липовой аллеи в польском фольварке в те мартовские дни 1945 года навсегда остались для Александры Александровны одним из центральных образов войны. Тут и бессмысленность, и необходимость, и жестокость, и желание выжить соединились воедино так плотно, что пенек вместо огромного живого дерева, спиленного на дрова во имя поддержания жизней множества искалеченных людей, стал для Александры Александровны олицетворением войны как способа существования. Из окна операционной пеньки были похожи на арифметический знак ноль, что, видимо, и есть символ всякой войны, если, конечно, прав Пифагор и «числа управляют миром»¹⁴.

IX

Прибыв в Бер-Хашейм, Мария с Улей переночевали на постоялом дворе, где для знатных особ были отведены довольно приличные покои. Рано утром, до большой жары, еще с вечера через своего гонца предупредив знахарку о визите, они отправились к ней домой.

Знахарка Хуа приняла их радушно и без удивления – к ней ездили и из еще более дальних мест Сахары. Она полулежала на тахте, потягивая мундштук булькающего в двух шагах кальяна.

– Будем говорить по-арабски или по-туарегски? – спросила ее Мария после обычных церемонных приветствий.

– Я сама кабилка¹⁵, – отвечала хозяйка дома, не вставая с широкой тахты. – Можно говорить по-арабски, по-туарегски, по-французски, а вашего русского языка я не понимаю.

То, что она знала их подлинную национальность, произвело на Марию сильное впечатление, а Уля, так та просто открыла рот и глаза ее расширились от ужаса.

– Девочки, не пугайтесь, – успокоила их Хуа на неплохом французском. – Я не угадала, мне просто донесли. – Она позвонила в серебряный колокольчик. – Мне всегда доносят. Сахара знает все, а от меня у нее нет секретов.

Знахарка Хуа была красива и еще молода. Предложив гостям сесть за маленьким столиком для кофепития, сама она все еще не вставала с тахты.

На звук колокольчика явилась полная чернокожая старуха с лоснящимся лицом, в красном платье и красной косынке, из-под которой выбивались концы коротко стриженных седых волос.

– Кофе, – бросила Хуа.

Старуха почтительно кивнула и удалилась.

Приказывая принести кофе, Хуа подняла указательный, безымянный и средний пальцы в массивных золотых перстнях с крупными сапфирами почти фиолетового цвета. На ней вообще было слишком много драгоценностей, за каждое из которых можно было бы купить по меньшей мере одного рабочего верблюда¹⁶.

¹⁴ Весеннее сокодвижение в деревьях и кустарниках в Восточной Европе начинается, как правило, в третьей декаде марта. В данном случае сокодвижение, зарождающееся в могучих корнях, еще не знающих, что над ними уже нет вековых крон, могло быть настолько интенсивным, что сок не только увлажнял торцы спиленных стволов, но и тек через край. Например, про спиленные березы так и говорят: «Березы себя оплакивают».

¹⁵ Кабилы – одно из берберских племен, выходцев из которого другие берберы считают дикими, склонными к обману и владеющими тайнами колдовства.

¹⁶ Для жителей Сахары верблюд – мерило подлинной цены.

Мария сразу обратила внимание, что в приемной комнате Хуа преобладал красный цвет. Красный цвет, блеск золота, сладковатый запах тлена и, конечно же, ярко-желтая канарейка в золоченой клетке – обычный атрибут всех богатых домов.

Украдкой Мария рассматривала знахарку. Длинные черные волосы Хуа против обычая были распущены, их лишь слегка прикрывала косынка ярко-синего цвета, и еще не потерявшие блеска шелковистые волосы ниспадали на чуть округлые покатые плечи. Знахарка была одета в свободное, длинное шелковое платье пурпурного цвета, раззолоченный корсет высоко поднимал грудь, массивный золотой пояс подчеркивал тонкую талию и бедра. Выкрашенные хной кисти рук и ступни ног Хуа гармонировали своим красно-желтым цветом с ее одеянием и с общей обстановкой комнаты. Мария особо отметила, что тонкая кожа на лице знахарки, на шее, на открытых частях рук и ног была светлая, почти бледная. Большие глаза Хуа горячечно блестели, черные зрачки почти сливались с черной радужкой, и казалось, что на фоне чистых белков они как бы плавают. На пухлых, красиво очерченных губах Хуа скользила блуждающая улыбка.

– Хотите кальян? – перехватив один из изучающих взглядов Марии, предложила знахарка.

Гости отрицательно покачали головами.

Когда принесли три крохотные чашечки бедуинского кофе на золоченом подносе, Хуа наконец встала с широкой тахты. Золотые браслеты на тонких щиколотках знахарки несколько раз звякнули, пока она шла к гостям. Знахарка села с ними за один столик. Мария и Уля не могли не отметить, какая у нее великолепная фигура, сколько в ней грации и изящества.

– Будем говорить по-французски? – спросила Хуа.

– Да, – взглянув прямо в глаза хозяйке, отвечала Мария, – хотя бы потому, что это родной язык вашего отца.

Теперь пришла очередь оторопеть знахарке. Ее зрачки дрогнули – для умеющего владеть собой человека это единственная примета точного и внезапного попадания в цель, совладать с которой не может никто.

– И что вы знаете о моем отце?

– Немного. Он был француз. Приехал в Африку служить в Иностранном легионе. За год до окончания контракта встретил вашу маму. А когда родились вы, наплевав на все предрассудки, женился на ней, уволился из легиона... Редкий случай.

– Все остальное про меня вы тоже знаете? – с подчеркнутым миролюбием в голосе спросила Хуа.

– У нас, у русских, такой обычай: по возможности узнавать о тех, от кого рассчитываешь получить помощь.

– Хороший обычай... Теперь по очереди, не мигая, посмотрите мне в глаза. Поверните лицо к свету, – обратилась она к Марии. – Вот так, хорошо.

Изучив глаза Марии и Ули, знахарка сказала:

– Вы мне приятны. Вы ровня. Я не буду вас лечить.

Названные сестры взглянули на Хуа с удивлением.

– Вас не от чего лечить. Вы здоровы, а чтобы родить, вам нужен здоровый мужчина.

– Наши мужья...

– Я их не смотрела, – прервала Марию знахарка. – Может быть, просто пока не совпало. Всякое бывает.

– Можно надеяться? – чуть слышно спросила Уля.

– Нужно. Вы здоровы.

– Вам должны понравиться наши подарки, мадам Хуа, – сказала Мария.

– Мадемуазель. Вы не можете этого не знать. – Черные глаза Хуа вызывающе сверкнули.

– Простите, мадемуазель, – исправилась Мария, подумав про себя, что именно так долгие годы поправляла собеседников она сама. Оказывается, до чего глупо это выглядит со стороны, когда повидавшая виды женщина представляется непорочной девой. – Вам должны понравиться подарки.

– Не возьму. Не заработала, а зря не беру.

– Вы очень обидите нас, очень! – В голосе Марии было столько тепла и искренности, что Хуа сдалась.

– Хорошо. Спасибо за подарки. На обратном пути будьте осторожны – скоро немецкое наступление, это опасно. Кстати, вы знаете, что у вас война?

– У туарегов? – испуганно спросила Уля.

– У русских, – усмехнулась Хуа. – Вчера на рассвете Германия напала на Россию.

Чернокожая служанка знахарки проводила их за калитку тесного двора, обнесенного высоким глинобитным забором. Мария и Уля молча подошли к ожидавшим их туарегам, сели на лошадей и поехали бок о бок.

Жгучее африканское солнце пекло голову, улочки Триполи почти обезлюдели – народ попрятался от надвигающегося полдневного зноя.

– Теперь, Улька, это и наша с тобой война, – сказала Мария после долгого молчания.

Х

Обратный путь был не так утомителен, как дорога в Бер-Хашейм, и потому, что Хуа вселила в них надежду, и потому, что с каждым переходом они приближались к дому. Караван шел как обычно, часов с трех ночи, а останавливались они за полтора часа до захода солнца, чтобы успеть разбить лагерь, покормить и напоить верблюдов да и себе приготовить ужин.

Весь долгий, знойный, крайне утомительный день пути Мария и Уля проводили в паланкинах, хоть как-то защищавших их от жгучего, слепящего солнца и устроенных на одnogорбых спинах верблюдов таким образом, что можно было дремать и не бояться, что тебя потеряют в пути.

Дорога убаюкивала, располагала к размышлениям и воспоминаниям. Собственно, это был единственный способ ненадолго забыться и преодолеть нудность многочасового пребывания на мерно покачивающейся спине верблюда; в его иноходи было что-то очень похожее на морскую качку, так что не зря называют верблюдов кораблями пустыни, а арабы, в свою очередь, называют корабли верблюдами моря. Конечно, Мария думала об Антуане, благодарила бога, что он в прямом смысле послал его с небес. Когда она сейчас думала об Антуане, то ей было ясно, что жила она на самом деле в детстве, потом – когда была влюблена в адмирала дядю Пашу, и живет теперь, при Антуане, а посередине – пустота, ее женское безвременье, выживание, но не настоящая жизнь. «А Сашенька, наверное, растит детей. Или пойдет воевать? Боже, как там моя мамочка, где она, в каком уголке России? И почему в больнице, в Праге, я назвалась Галушко? Как это странно, я ведь и двух слов никогда не сказала с этим Сидором Галушко, только запомнила на всю жизнь, как неправильно смотрел он на молящуюся маму, давным-давно, в церкви на Нерли, где так сладостно пахло душистыми травами, разбросанными от входа до иконостаса. Странно, очень странно... Боже, опять война в России! Сколько можно уничтожать наш народ? Господи! Спаси и сохрани Россию!»

На семнадцатый день пути в Тунизию, перед рассветом, когда караван, как обычно, был в пути, война напомнила о себе. Сквозь дрему Мария расслышала далекий гул. Встрепенувшись, она прислушалась. Гул нарастал, он катился с запада на восток.

«Правнуку Пушкина надо бы иметь дело не со мной, а с Хуа – вот действительно информированный человек: немцы пошли в наступление».

Гул и рокот накатывали все явственнее. Мария приоткрыла полог паланкина. На земле уже стояли священные минуты сухура, пограничные минуты, разделяющие в пустыне день и ночь: солнце еще не взошло, но рассеянный яркий свет уже заливал необозримые пространства, ласкал взор надеждой на вечную жизнь в этом вечном, прекрасном мире. Сверкнул на востоке краешек солнца, и в ту же секунду в зыбком мареве пыли и солнечных лучей Мария увидела растущую на глазах колонну немецких танков. Она не смогла их сосчитать, только различила, что это настоящие, закамуфлированные под цвет пустыни тяжелые танки, все как на подбор, один к одному. «Боже мой, сколько танков! Невероятно!» Вдруг в груди ее возник тот самый знакомый холодок, что всегда предшествовал в ее судьбе большим опасностям и большим неожиданностям. Она прислушалась, что-то показалось ей странным в реве десятков тяжелых танков. Она попыталась вслушаться еще внимательнее, но тут вся колонна одновременно остановилась и на смену реву и рокоту пришла пугающая тишина – танки заглушили моторы. Мария поняла, что не только она видит колонну, но и из колонны увидели караван. Она успела подумать, что тяжелые танки в пустыне, видимо, хорошо считать с высоты, чем и занимаются английские самолеты-разведчики. В ту же минуту, как она это подумала, от колонны отделилась танкетка и двинулась к каравану.

Открытая танкетка шла быстро, вместе с водителем в ней было четыре человека в желтовато-серой камуфляжной форме.

Мария велела остановить караван.

Танкетка подъехала именно к ее паланкину, наверное, потому, что он был впереди Улиного. Мария приоткрыла полог и сказала туарегу, чтобы тот уложил верблюда. Ее жест очень понравился генералу, вышедшему из танкетки вместе с двумя офицерами; генералу польстило, что хозяйка каравана опустила, чтобы не смотреть на него сверху вниз.

Молодой черноглазый офицер неожиданно заговорил на чистейшем арабском языке:

– Генерал Роммель спрашивает: куда держите путь?

Мария знала немецкий язык с малолетства почти как русский, но переводчику Роммеля ответила по-туарегски:

– Возвращаемся из Бер-Хашейма. Домой, на стоянку.

Молодой офицер понял ее и перевел генералу:

– Это туареги. Возвращаются домой из Бер-Хашейма.

– А что они там делали?

– Зачем вы ездили в Бер-Хашейм, спрашивает генерал Роммель, – опять же по-арабски перевел Марии офицер, видимо, недостаточно хорошо говоривший по-туарегски, хотя и понимавший все слово в слово. – Зачем вы ездили в Бер-Хашейм? – повторил он.

Мария замялась, потупилась. Ее лицо и вмиг поникшие плечи изобразили крайнее смущение.

– Зачем?

– К знахарке Хуа... Чтобы родить детей... – пресекаясь голосом, не поднимая глаз, отвечала Мария.

– Господин генерал, они ездили в Бер-Хашейм к знахарке Хуа, которая лечит от бесплодия.

– Тогда мне понятно ее смущение, – улыбнулся Роммель. – А в Бер-Хашейме есть такая? – тут же настороженно добавил генерал.

– Да, господин генерал, Хуа знает вся Сахара. Жена моего старшего брата тоже ездила к ней и потом родила.

В разговор неожиданно вступил второй офицер при генерале – плотный, седеющий полковник в круглых очках с металлической оправой:

– Господин генерал, разрешите расстрелять караван? Из крупнокалиберного пулемета – минутное дело, – произнес он по-немецки. Его голубые добрые глаза усталого старого учителя

вспыхнули на мгновение чистым светом, как у человека, способного быстро и хорошо сделать свою работу.

– Зачем?

– Они слишком близко от наших порядков, здесь не больше двухсот семидесяти метров, а вы приказали открывать огонь на поражение с трехсот.

– Курт, у вас четверо детей, откуда такая кровожадность? Вы видите, что у них нет ни одной винтовки. Если бы была хоть одна...

– Орднунг есть орднунг, – смущенно отвечал Курт.

Генерал Роммель пристально посмотрел на Марию, и она не смогла отвести глаз, побоялась, что насторожит немца.

– Почему лицо ее открыто? Почему у нее светлые глаза? – вдруг спросил переводчика Роммель. Спросил, как выстрелил. Душа Марии заледенела от страха.

– О, у туарегов женщины не закрывают лица, – почти весело отвечал переводчик. – А глаза у берберов иногда бывают светлые, серые и даже голубые.

– Красивая дикарка, – печально сказал Роммель. – Но они ведь не берберы, а туареги?

– Туареги – тоже берберы, просто одно из племен.

– Ладно. Пусть родят сыновей! – Роммель поднял руку в знак прощания, повернулся и пошел к танкетке.

– Можете ехать. Генерал Роммель желает вам родить сыновей.

Военные сели в открытую танкетку, та ловко развернулась и покатила к боевым порядкам, хотя и замаскированным под песок пустыни, но очень хорошо различаемым с высоты.

Едва разлепляя онемевшие губы, Мария велела погонщику поднять ее верблюда.

Как только танкетка подъехала к своим, взревели моторы, и тяжелые немецкие танки двинулись неторопливо, словно в психическую атаку.

Мария овладела собой и напряженно прислушалась к работе моторов, она прислушивалась изо всех сил, пока не убедилась в своей догадке... «Да! Да! Да! Тысячу раз – да!»

Не расстреляв Марию, блистательный боевой генерал Роммель совершил роковую ошибку.

XI

В конце апреля 1945 года из госпиталя пропал заместитель начальника по тылу Ираклий Соломонович Горшков. Все знали, что Ираклий Соломонович просто так не исчезает: если его долго нет, значит, жди перемен, а то и передислокации. Хотя куда еще можно передислоцироваться, если не сегодня завтра Берлин будет наш? Если работа в госпитале налажена до автоматизма. Если каждый считает не только дни, но и часы, минуты, секунды, оставшиеся до Победы?! Если так хочется домой? Если такая смертная тоска берет за душу...

Александра даже спросила об Ираклии Соломоновиче у Папикова.

– Никто не знает, – отвечал Папиков, – даже сам генерал, даже особист. Ираклий Соломонович убыл в распоряжение штаба фронта.

– Значит, что-то будет, – хитро улыбнулась Папикову Александра, давно освоившаяся с главным врачом, – значит, что-то будет...

– Я тоже так думаю. В конце концов есть еще Дальний Восток, Япония...

– Ого! – удивилась Александра. – Хотя всякое может быть, почему бы и нет?

2 мая 1945 года пал Берлин.

Вечером следующего дня половину персонала госпиталя во главе с Папиковым вместе со всем инструментарием, большим запасом медикаментов и месячным сухим пайком перебросили в нескольких крытых брезентом студебекерах на близлежащий аэродром. Здесь они промаялись сутки. Слава богу, и под открытым небом было совсем тепло. Где-то раздобыли

какие-то доски, разложили их недалеко от взлетной полосы, расстелили на них одеяла, которые были даны им в дальнюю дорогу вместе с постельным бельем для будущего госпиталя и всеми прочими причиндалами, и, можно сказать, расположились веселым табором очень даже неплохо. Все были возбуждены неизвестностью, все незлобиво подначивали друг друга и с удовольствием смеялись каждой даже мало-мальской удачной шутке. Всем было ясно, что полетят они если и не в тартарары, то куда-то очень далеко – иначе зачем сухой паек на целый месяц?

– А я в детстве жила на Дальнем Востоке, – сказала Александра «старой» медсестре Наташе. – Мы с мамой жили в Благовещенске на Амуре, там на другом берегу китайцы. И в Петропавловске-Камчатском жили, а там такая Авачинская бухта – чудо! И вид прямо на Тихий океан!

– Может, опять увидишь, – сказала Наташа, которая, как и все, несмотря на полную загадочность их будущего маршрута, давно поняла, что к чему. Всех навел на размышления сухой паек, выданный на месяц.

В три часа ночи 5 мая их загрузили в два транспортных самолета, и они полетели туда – не знаю куда.

Через час и десять минут самолеты приземлились на неизвестном аэродроме. С земли была подана команда к полной разгрузке. Никто не угадал. Всех обманули – и своих, и чужих. Так высока была в те дни степень конспирации, что не пожалели и месячного сухого пайка, всех ввели в заблуждение.

Судя по исключительно аккуратной разметке на летном поле, еще совсем недавно этот аэродром был немецким. Разгрузились в полчаса.

Было очень тепло и тихо. От земли поднимался белесый, стелющийся туман, и при виде потемневших от росы ближних лугов и каких-то строений вдалеке никак не верилось, что они приехали на войну. Солнце еще не взошло, но с каждой минутой небо становилось все светлее, а кромка горизонта на востоке чуть позеленела, и росные луга за аэродромом стали все рельефнее перетекать с одного пологого склона на другой, пока наконец не вспыхнули, не заискрились под солнцем, вдруг ударившим поверх черепичных крыш аккуратненького, словно игрушечного, городка, смутные очертания которого еще недавно лишь проступали в призрачном полусвете.

– Господи, красиво-то как! – громко воскликнула «старая» медсестра Наташа, и все, кто ее услышал, вдруг замерли на мгновение, и в ту же минуту на западе заработала тяжелая артиллерия.

– Наши бьют!

– Точно. Звук наш.

Всем стало понятно, что хочешь или не хочешь, а приехали они на войну, все на ту же войну, которая, оказывается, еще не везде кончилась.

Доставившие их самолеты улетели сразу после разгрузки, а из obsługi было на аэродроме всего пять человек во главе с сержантом, которые лишнее слово боялись проронить и на вопросы госпитальных о том, где они и что их ждет, отвечали как заведенные одно и то же: «Не можем знать!»

В восемь утра, когда команда под началом очень невоенного полковника Папикова истомилась до дури и, как сказала бы мама Александры Анна Карповна, «тынялась» по пустому полю аэродрома, с дальнего шоссе, по которому с глухим рокотом шел на запад нескончаемый поток нашей техники, вдруг повернула в их сторону небольшая колонна, и скоро подкатили четыре крытых брезентом новеньких студебекера. К фаркопфу головной машины была прицеплена зеленая полевая кухня – наша, родная. При виде полевой кухни Александре Александровне сразу вспомнился ее ППГ, его усатый начальник К. К. Грищук, прозрачное озерцо, в котором так славно искупались они по очереди с Адамом, вспомнилось, как подвернула ногу и он нес ее по осеннему полю в тот хрустальный, богоданный день навстречу, казалось, веч-

ному счастью. Полевые кухни у них в ППГ были точно такие же, как и эта, прицепленная к американскому грузовику.

Из кабины головного студебекера выскочил маленький верткий Иракий Соломонович Горшков.

– С приездом, дорогие товарищи! – срываясь на фальцет, звонко выкрикнул полковник Горшков, молодецки кинул растопыренную пятерню к виску, желая отдать честь сослуживцам, и так ловко и сильно сбил с себя фуражку, что она колесом покатила по взлетной полосе. Пока Иракий Соломонович догонял фуражку, пока стряхивал с нее пыль скомканным платком, все госпитальные дружно хохотали, сам Папиков и тот не удержался от смеха, у него даже очки соскочили с носа, спасибо, недалеко им было лететь, поскольку их подстраховала тесемка на шее!

Наконец Иракий Соломонович водрузил фуражку на свою лысую голову с огромным лбом, поздоровался за руку с Папиковым, промокнул все тем же скомканным платочком испарину на лице и сделал величественный жест в сторону полевой кухни:

– Манная каша на молоке! Масло сливочное по пятьдесят грамм! Кофе с молоком! Настоящий, без цикория! Кушать подано! Открывай!

Незаметно возникший у кухни незнакомый повар в белом халате и белом колпаке положил лоток с кубиками сливочного масла на металлическую площадку между двумя котлами кухни, потом отвинтил одну емкость, вторую, поднял крышки, и все почували давно забытые запахи – манной каши, сливочного масла, кофе.

Бегающие голубые глазки Иракия Соломоновича излучали такое торжество победителя, что, глядя на него, любой мог бы позавидовать: «Вот самый счастливый человек на свете!»

Александра по себе знала, как приятно сделать для другого что-то хорошее, а тем более неожиданное, и она от души порадовалась за Иракия Соломоновича, с умилением наблюдавшего завтрак сослуживцев. «Хороший дядька, – подумала Александра, – и как удивительно сочетаются в нем пронырливость, хитрость и бесхитростная детская доброта. Как странно перемешано все в жизни и в каждом отдельно взятом человеке».

Выяснилось, что четыре студебекера – теперь их дом. В три первых они загрузились, а четвертый оказался набит продуктами, в основном американскими, консервированными, подлежащими долгому хранению.

– С такой жратвой можно и повоевать! – сказал кто-то за спиной Александры, когда она садилась в кабину одной из машин, – эту честь оказал ей лично Иракий Соломонович, давно узнавший в ней знаменитую медсестру московского госпиталя, акробатку и орденоноску Александру Галушко.

Скоро выехали на шоссе. Первый же указатель разъяснил все:

«Praga. 150 km».

ХП

Подросшие сыновья Фатимы Сулейман и Муса бегло читали по-русски, писали под диктовку Марии Александровны диктанты, без акцента декламировали наизусть стихотворения Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Тютчева, Фета. Мария таки добилась своего – сделала у себя дома маленький уголок русского мира. Фунтик окреп и вошел в молодые собачьи годы. Жены господина Хаджибека Фатима и Хадижа по-прежнему дружили с Марией и почитали ее как старшую сестру, хотя по возрасту это и не вполне соответствовало действительности. Господин Хаджибек рвался к политической карьере и чаще самого губернатора ездил в Виши – он был уверен, что немцы победили надолго, если не навсегда, и все советы Марии «не увлекаться» отлетали от него, как горох от стенки. Не оставляла Марию своим вниманием

и Николь, к сожалению, вдруг резко сдавшая, часто прихварывающая, всегда наэлектризованная, иногда несправедливая, вздорная, а то и просто злая.

Сразу по возвращении из утомительнейшего и крайне рискованного путешествия в Ливию Мария попросила доктора Франсуа устроить ей встречу с Джорджем Майклом Александром Уэрнером.

Случилось так удачно, что еще до приезда правнука Пушкина Марию Александровну навестил на ее фирме Иван Павлович Груненков, в руках его был большой плоский сверток.

– Что это у вас? – спросила Мария, после того как они радушно поприветствовали друг друга и уселись в мягкие кожаные кресла за низким гостевым столиком.

Иван Павлович вынул из свертка несколько обкрошившихся листов папье-маше сантиметра в три толщиной, изнутри темно-серых, а с лицевой стороны – в светло-коричневых и желто-серых пятнах и пятнышках.

Мария молча разглядывала куски папье-маше, а потом глаза ее вдруг блеснули – карта ложилась к карте... пасьянс сошелся!

– Я ими печку растапливаю, – сказал Иван Павлович, – спасибо, чуть-чуть осталось, есть что показать. В прошлом году приходил итальянский транспорт – один танкер и два сухогруза со всякой военной мелочевкой, полевыми кухнями и прочая. И еще разгружали много огромных плоских ящиков из фанеры. Угол одного из них отбил, и из ящика посыпались куски... Ну я унес домой мешок этих кусков на растопку, а то, что вы видите, завалилось за печку, я думал, их и нет, а они – вот они, голубчики, и, вижу, пришлось по делу.

– Возможно, и по делу, – усмехнулась Мария Александровна. – А когда был транспорт с армейскими фольксвагенами?

– Примерно за месяц до этого. Вы обратите внимание: на листах есть рельефы...

– Обратила, дорогой Иван Павлович, – улыбнулась Мария, – сразу обратила. Надеюсь, вы оказали России значительную услугу. Вы подтвердили мою догадку на сто процентов.

– Какая там услуга! – смутился Иван Павлович. – Теперь это и наша война...

– Наша. Я так и сказала Ульяне, как только услышала, что Германия напала на Россию. На том они и простились.

А когда в октябре 1941 года Мария Александровна наконец встретилась с правнуком Пушкина, она была готова изложить ему суть дела коротко и ясно.

– Большого количества тяжелых танков у Роммеля нет, а то, что видят с высоты ваши пилоты, – муляжи из папье-маше.

– То есть как?

– Да, это муляжи танков, сделанные из папье-маше камуфляжной раскраски и нацепленные на грузовички-фольксвагены. В ливийской пустыне я столкнулась с колонной таких «тяжелых» танков и сразу услышала, что работают не танковые двигатели. Вернее, были в этой колонне и настоящие танки, но всего несколько штук. В свое время я служила на танковом заводе «Рено» инженером по наладке двигателей, меня там звали «слухачкой». Я на слух могу не то что отличить танковый двигатель от автомобильного, но и определить модель танка, степень износа его двигателя и многое другое, специфическое. Немецкую колонну на марше я слышала своими ушами. А когда мы вернулись из ливийской пустыни, один мой человек принес вот эти небольшие фрагменты муляжей – они перед вами. В прошлом году немцы привезли к нам много больших плоских ящиков, как понятно мне теперь, с панелями из папье-маше, а потом приплыли и фольксвагены. Всё сходится. Так что бейте их смело. Колонны тяжелых танков – всего лишь психические атаки, специально рассчитанные на вашу разведку с воздуха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.